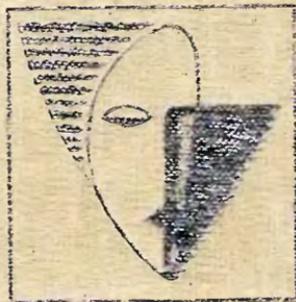


СЕН-ЖОН ПЕРС

ИЗБРАННОЕ





St. John Perse

СЕН-ЖОН ПЕРС

ИЗБРАННОЕ

*Вступительная статья
Пьера Мореля*

Москва
Русский путь
1996

SAINT-JOHN PERSE
P o é s i e

Переводы с французского

**ГЕОРГИЯ АДАМОВИЧА
ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ
МОРИСА ВАКСМАХЕРА**

*Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства
иностраннных дел Франции и Посольства Франции в России*

- © Éditions Gallimard, 1972.
- © Пьер Морель, предисловие.
- © Н. Стрижевская, перевод.
- © М. Ваксмахер, перевод.
- © Г. Самойлов, оформление.

СЕН-ЖОН ПЕРС В РОССИИ

Преступи! Преступи! Решителен наш шаг, и
поезд наш отважен. Грядущие творения перед нами:
они и резкие, и краткие, и едкие.

Знакомы нам законы горечи и терпкости.
Наш хлеб — не яства Африки, не пряности латинские,
он полон кислотой, а родники сокрыты.

О время Божье, будь милостиво к нам.
С чесночного ожога родится искра гения. Куда вчера
бежала? Куда взовьется завтра?

Мы первыми там будем, и на земле пометим
искру огненную. Затея велика, и мы ее приемлем.
Вот то и есть сей вечер, дело человека.

Чела и лика семью костями, пусть будет
человек в Создателе упрям, пусть истощит себя
до мозга кости! Пусть треснет кость!.. О Бога
замысел, будь в помощь нам...



Божья Обезьяна, полно уж лукавиты!

Сен-Жон Перс «Сушь» (1974)

Русский читатель — явление по многим причинам исключительное. Его пленительный язык невероятно богат и музыкален. В отличие от других великих языков, где поэзия развивается как бы незаметно, в русском языке поэзия занимает центральное место и остается для самого широкого круга читателей источником вечной молодости. И, наконец, самое главное: за очень короткое

время несколько совершенных поэтов, призванных формировать духовность великого народа, сумели выразить в своем творчестве его национальный дух: это, конечно же, божественный Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Мандельштам, Ахматова, Цветаева и Пастернак.

Предлагаемый сборник — новая встреча российского читателя с поэтом, который занимает свое особое место в том же храме чистой поэзии. Не пропустите это знаменательное, давно откладывающееся событие. Сегодня Сен-Жон Перс может и должен найти свое место в России.

Окажется ли Сен-Жон Перс доступным? Самым лучшим ответом на этот вопрос станет сила его поэзии. Именно поэтому я решил начать свое предисловие финальными строками последнего произведения поэта «Сушь» («Sécheresse»), которое было написано им в возрасте 87 лет. Первым в душу пусть войдет творчество, комментарий же останется на втором плане. «Сушь» — очень личная поэма, всего в нескольких лессах которой воссоздается картина пройденного поэтом пути, раскрывается глубокая суть этого великого странника.

В жизни поэт тоже был странником. Алексис Леже родился в 1887 году на острове Гваделупа, в семье плантаторов и нотариусов. В 12-летнем возрасте он приезжает во Францию, где продолжает учебу в городах По и Бордо. Его первые поэмы публикуются в 1909 году. С 1911 по 1914 год он путешествует по Европе, в 1914 году поступает на службу в Министерство иностранных дел, в 1916 — уезжает в Пекин, откуда возвращается спустя 5 лет через Тихий океан и Америку. Встречается с Аристидом Брианом, становится его ближайшим сотрудником и после смерти последнего в 1933 году продолжает его дело на посту Генерального секретаря Кэ д'Орсэ — Министерства иностранных дел Франции. В 1940 году отстраненный от должности, Леже отправляется в изгнание в Соединенные Штаты, откуда вернется лишь в 1957 году. После получения в 1960 году Нобелевской премии в области литературы и вплоть до своей кончины он живет то в Провансе, то в Вашингтоне.

Пестрая, сумбурная, кочевая жизнь. Однако от начала до конца Сен-Жон Перс неизменно остается верен себе. Образ последнего стихотворения поэта — тот же, с которым он отождествляет себя в семнадцать лет в одном из первых произведений — «Картинках для Крузо» («Images pour Crusoé», 1904):

Старик, чьи руки голы,
Тебя вернули к людям, Крузо,
Я думаю, ты плакал, видя то аббатство и те башни,
откуда на весь город колокола звенели,
плач и волны...
О Нищий!

С удивительным постоянством поэт возвращается к теме старца, именно так ему удается увидеть и объять эту необъятную жизнь: поэт восклицания, Сен-Жон Перс рождает живое слово, и чем лучше ему удастся обнажить свою душу, тем ярче будет свет этого слова. Таков главный жизненный принцип Сен-Жон Перса.

Нет ничего удивительного в том, что все творчество Сен-Жон Перса подвластно одному и тому же порыву. Цельное с первых до последних строк, оно движется вперед, как волны, как озарения, сменяющие друг друга. Голос поэта всякий раз звучит по-новому, он обращается к миру во всем его разнообразии и к самым различным состояниям человеческой души.

Попробуем хотя бы вкратце познакомиться с этой нескончаемой Персовой поэмой, с этой «долгой непрерывной фразой».

В первых произведениях, написанных на Гваделупе, Сен-Жон Перс воспевает родной остров. Сборник «Хвалы» («Éloges»), опубликованный в 1910 году под именем Сенлеже Леже, — это воспоминание и вместе с тем прощание с миром детства, проведенного на Антильских островах. Поэт-рассказчик получает откровение — он вдруг постигает, что «живет у Бога в горле». Так он провозглашает свое рождение в стране поэзии.

«Анабазис» («Anabase»), первое произведение, которое вышло в 1924 году под окончательно выбранным поэтическим псевдонимом Сен-Жон Перс, внешне похож на поэму о завоеваниях, однако в нем речь, скорее, идет об инициации, о новом раскрытии своего Я. Неведомый мир кочевников, верховья Азии, где-то на границе с Китаем: страна, ни разу не названная, но узнаваемая. Сцена, с которой начинается поэма, поразила даже самых искушенных современников поэта:

Под бронзовой листвою рождался жеребенок. Человек положил нам ягоды горькия в руки. Чужеземец. Проходивший. И слух, кажется мне, доносится о других областях... Привет вам, дочь моя, под самым большим из деревьев года.

Вся Европа испытывает на себе очарование этих строк: Т.С. Элиот, Вальтер Бенжамин, Унгаретти станут переводить это таинственное произведение.

Еще одна пригоршня горьких ягод, «положенных в руки» на американском побережье спустя двадцать лет, — пронизанное одиночеством «Изгнание» («Exil»), которое, однако, не замкнуто в своем отчаянии. Напротив: это история нового овладения бесконечной и вечно новой вселенной. На другом континенте поэт по-прежнему верен однажды избранной теме:

Ни берегам посвящать не пристало, ни белым
листам доверять не стану я чистый зачин этой песни...

Другие расцветят пестрядь росписей старых и
завитков алтарных:

Моя слава в песках! моя слава в песках! Но не
в скитах и скитаниях, о Странник,

А в жарких далях, где на сыпучих скрижалях из-
гнанья я тщусь начертать, вывести на голых долах
строки поэмы из иетей, поэмы из небытия...

Как Всадник, натянув поводья в преддверии
безводной пустыни,

Я на огромной арене взморья подстерегаю втайне
явление знамений заревых.

И по песчаным строкам писания для нас перстом
авгура водит утро.

Изгнанья дней не счесть! Не счесть недель
изгнанья! “О персть примет! О предзнаменованья!”

Так Чужестранец молвит в песках: “Все в мире
мне ново ныне...” и собственным словам, словно чужим,
внимает.

Однажды выбранную тему продолжают «Ливни» («Pluies») и «Снега» («Neiges»), в которых заметно изменение ритма и ощущается иное вдохновение: проливные дожди и плантации Юга Соединенных Штатов напоминают о детстве, проведенном на Антильских островах, а американские зимние пейзажи вызывают у поэта-изгнанника воспоминания о матери, оставшейся во Франции. Еще более личное стихотворение «Поэма Чужестранке» («Poème à l'Étrangère») — обращение к женщине, которую Сен-Жон Перс полюбил в это военное время, — новой частью вли-

нается в бесконечную и объемную фугу, в которой звучит космическое и личное, глубокая древность и недавно пережитое, тяжелые испытания и восхищение.

Из нового мощного порыва творческого вдохновения рождается поэма «Ветры» («Vents»), в которой продолжается постижение стихий. Пленный идеей космического обновления, поэт устремляется вперед, оставляя позади эпохи и континенты:

Все заново начать. Все заново сказать. И взора
острием все оглядев,
Уйти! Уйти! Живущего обет!

Вслед за этим появляется безграничная поэма «Створы» («Amers»). Подобно симфонии, она делится на части, в каждой из которых свой ярко выраженный лейтмотив.

Узки суда, и ложе наше узко.
Огромно вод пространство, владенье наше шире
желанья запертые комнаты.

Путешествия по морям превращаются во вселенский шепот, опьянение, и вновь ведут к самому чистому единению с миром неустанно провозглашаемой любви.

За безбрежными морями встанут могучие, суровые, островерхие утесы: «Хроника» («Chronique»), «Песня той, что была с тобой» («Chanté par celle qui fut là»), «Песнь равноденствия» («Chant pour un équinoxe»), «Ноктюрн» («Nocturne»), и наконец «Сушь», — последние яркие вспышки отныне угасающей жизни. Однако поэтическое вдохновение продолжает жить и дерзновенно взмывает ввысь вместе с последним окриком, который в конце творческого пути поэт бросает самому себе: *«Божья Обезьяна, полно уж лукавить!»*



Этот краткий обзор творчества Сен-Жон Перса вызывает в сознании некий образ, образ поэтического архипелага. И мне хотелось бы особо на нем остановиться. Прежде всего потому, что в этом образе сочетаются родственная близость, удаленность и несхожесть — именно те отношения, которые устанавливаются между всеми и каждым произведением поэта. С другой стороны, потому, что это слово-символ, которое в течение многих лет могло быть раскрыто лишь одним ключом — принадлежащим Солженищину, — сегодня вновь обретает все возможные оттенки смысла и свободу образов и метафор.

Творчество Сен-Жона Перса — единая система цельных как монолит, родственно близких и перекликающихся поэм, которые, независимо от своей формы, созданы из одного и того же языка — сильного, отшлифованного, пронизанного духом высокой творческой устремленности.

Шаг за шагом, от лессе к лессе, от песни к песне поэзия сама рассказывает о себе и о порыве, который ее увлекает. Эти постоянно возобновляемые размышления о поэзии получают в конце творческого пути поэта свое сжатое выражение в большой речи Сен-Жон Перса, произнесенной в Стокгольме по случаю вручения ему Нобелевской премии. Эта речь, текст которой приводится в конце сборника, позволяет понять замысел, которому поэт никогда не изменял, и охватить, таким образом, все его творчество взглядом самого творца.

Читая эту речь, в которой утверждается назначение поэзии — раскрывать суть бытия, примерять человека самим собой, — можно лишь поражаться дерзновенности Сен-Жон Перса. Пройдя без усталости по самой вершине гордого слова, рискуя навлечь на себя отовсюду упреки в негибкости, застывшем характере и даже препарированности своего слова, в момент признания и почестей поэт испытывает потребность говорить в защиту поэзии за прошлые и будущие столетия. Говоря о том, что сегодня поэтическому глаголу отведено слишком скромное место, поэт с еще большей силой утверждает его незаменимую роль. «Когда рухнет мифология, божественное находит прибежище, а может быть, и грядущее пристанище, в поэзии», — говорил он в Стокгольме, возлагая на «поэта как неделимое целое» трудную задачу: соединить в человеке временное и вневременное. Это непосильный труд, так как наша «физическая связь со Вселенной» не есть случайность, она не остается безнаказанной. Это «одушевление бытия» происходит через публичное действие, через осуждение поэта, даже изгнание и длится до тех пор, «пока мечта не становится действием». Можно, конечно, иметь иное представление о поэзии, ведь это таинство восприятия мира человеком столь многогранно. Однако несомненно одно — на протяжении всей своей жизни и творчества Сен-Жон Перс призывал современников выйти за рамки собственного Я, чтобы «лучше жить» в поэзии.

Верный самому себе, Сен-Жон Перс сознательно принимает обет одиночества и аскетизма, что позволило ему отождествить себя с Робинзоном Крузо. В творчестве и благодаря творчеству поэт выходит за рамки условностей и даже за рамки своей соб-

ственной жизни. В этом — главный принцип поэта, на котором следует остановиться особо.

Находясь во власти мощных поэтических сил, Сен-Жон Перс всегда стремился оградить поэзию от превратностей светской литературной жизни, а впоследствии — от правил профессиональной и обыденной жизни. В том, что человек ставил свое существование на карту, хотя болезненно преодолевал при этом свои внутренние противоречия, иногда усматривали, впрочем довольно поверхностно, некое кокетство и притворство. В момент выхода в свет «Хвалы» («Éloges») молодой Алексис Леже выбрал еще только первый набросок своего настоящего поэтического имени — Сенлеже Леже, — однако эта публикация означала для него испытание, что, в свою очередь, вызывало раздражение самых ревностных руководителей «Нового Французского Журнала» (NRF), переживающего период расцвета, в частности Андре Жида. «Юношеская гордость беспорочного таланта и вместе с тем провинциальная угловатость», часто повторяемая характеристика, в которой отсутствовало главное. Все эти раздраженные споры, едва возникнув, тотчас же разбивались о почти магнетическое поэтическое чувство, не признававшее ни малейшего обуздания.

К счастью для Поэта, к счастью для нас, другой поэт, немногим более старше Сенлеже Леже, Валери Ларбо, после первой же встречи с тогдашним 23-летним студентом из города По, сумел увидеть в нем главное. Письмо, которое восхищенный Ларбо пишет в тот же вечер своему другу Леону Фаргу, — самый живой портрет поэта тех времен. Я привожу столь длинную цитату из него, поскольку в некотором роде она является предисловием ко всей жизни Сен-Жон Перса. Это первый «набросок» предваряет другой, более крупный, который будет специально подготовлен для российского издания «Анабазиса» (текст приводится в данном сборнике).

По, 6 апреля 1911 г. (Четверг)

«Мой дорогой Леон!

Я виделся с Жаммом и Сенлеже Леже. С первым я обедал в Ортезе, со вторым буду обедать здесь завтра. <...> Вскоре после возвращения в По я зашел к нему и ушел только через три часа. Ты получишь несказанное удовольствие. Я мужественно борюсь со сном, чтобы рассказать тебе об этой встрече.

Сенлеже Леже — высокий бледный молодой человек, с крупным лицом. Усы, волосы и глаза — черные как смоль и блес-

тящие. Даже не подумаешь, что он креолец, если бы не «р», которое он почти не произносит. Поначалу он довольно холоден, почти не делает жестов. Такой прием мог бы оказать один из тех молодых англичан из аристократической семьи, которые заходят ближе к полудню в магазин шляпника Локка.

Я представлял себе — уверен, ты тоже — эдакого молодого космополита, который стал осмотрительным и благоразумным благодаря встречам со многими людьми и знакомству со всякого рода обычаями и разными привычками. Нет, причина не в этом. Судя по его биографии, Сенлеже Леже — как раз из тех, кого парижские консьержки и репортеры называют «провинция». Он покинул Мартинику в 12 лет и больше туда не возвращался. Учился только в лицее в По (эти жуткие провинциальные лицеи!), немного знает Бордо, куда ездил сдавать экзамены на степень бакалавра <...>. И все. Так вот, он не только большой, но еще и умный — столь же благоразумный и мудрый, как тот молодой космополит, которого мы себе представляли. И всего этого он достиг сам. Он говорит о Франции как о ненавистной стране, где он страдает, и когда произносит слово «Париж», перед глазами встает картина огромной помойной ямы, покрытой вечным туманом. Дважды он ездил в Арагон, от которого у него осталось ощущение жестокой красоты. Он говорит, что любовался набережными Бордо, но тут же спохватывается: «Набережные всегда красивы». Это большой ум (внешне — это снисходительность пятидесятилетнего монарха и простота светского льва, пресыщенного славой) — порождение ненависти к своему окружению, благодаря которой он сумел, не запятнав себя, пройти через провинциальный лицей; ненависть сделала его отличным от всех жителей По — среди которых он совершенно одинок; — и эта же ненависть в конце концов вновь отбросила его в детство. Впечатление такое, будто он всю жизнь провел во «Владениях Короля-Солнца».

После смерти отца три года тому назад он стал главой семьи (мать и три сестры), получает доход от своего состояния (очень небольшой), и изучает право в надежде получить место в одном из консульств. Больше всего он хочет поехать в одну из жарких стран <...>.

Он объясняет мне все это спокойно и говорит о своих делах так, как царствующий принц мог бы рассказывать о бремени своего Государства.

Сам он отказывается говорить об искусстве, но я вызываю его на этот разговор, рассказывая, как мы с тобой любим его поэмы. Прием, оказанный ему публикой из «Нового Французского Журнала», его оскорбил. После того как Жид сказал ему, что его «Хвалы» произвели впечатление «оригинальных», он решил вообще ничего не публиковать из опасения прослыть именно «оригиналом». Впрочем, он считает, что только жизнь имеет значение («Достаточно уже того, что ты не мертв») и что искусство есть не что иное, как недосказанность; недосказанность же ведет к молчанию, а поэтому лучше уж совсем ничего не писать, а просто наслаждаться жизнью. Из современной литературы он знает лишь «Фермина Маркез»¹, в романе его восхищает больше всего язык. Ему нравится Клодель, но из французов наслаждение он получает лишь от Бодлера и Боссюэ («как лирического поэта»).

(Он говорит: «Французы — племя судейских чинуш»). Рембо излишне сух и недостаточно музыкален. «Это, — говорит он, — писано курсивом». По недостаточно реализовал себя.

Своим единственным учителем он считает Пиндара, строфа которого его полностью устраивает. Также любит читать авторов греческих трагедий и александрийцев (Плотина и Ямвлиха). Латинская литература не слишком ему нравится; тем не менее, он высоко ставит Лактанция.

Ты не можешь представить себе, с каким спокойствием он говорит обо всем этом.

Наконец, завтра утром (сегодня утром, потому что уже половина второго ночи!) я опять встречаюсь с ним. Надеюсь уговорить его напечатать другие поэмы».

Публиковать, не публиковать? Леже так никогда не разрешит этот внутренний спор. А может, мятежный, непокорный, инакомыслящий поэт и есть его непонятный, необузданный двойник? Невозможно исключить этот чисто психологический момент, столь часто в своем творчестве, как и в переписке, Леже возвращается к идее раздвоения личности.

Но самое замечательное — это то, как ему удастся воспользоваться этой идеей. С исключительной решимостью Леже устанавливает четкое разграничение между поэтической деятельностью и дипломатической карьерой, и не ради удобства, а в силу необходимости, для сохранения свободы поэта.

¹ Речь идет о романе Валери Ларбо.

Странный псевдоним Сен-Жон Перс, выбранный после возвращения из Китая, никогда не определялся иначе, как «добровольно принятый именно в том виде, в каком он возник в сознании поэта по неизвестным ему самому причинам, как в старой ономастике, с его долгими и краткими звуками, с ударными и безударными слогами, твердыми и шипящими согласными, в соответствии с тайными законами любой поэтики». Этот псевдоним, самый подходящий и теперь уже окончательный, сочиненный, как поэма, является чем-то вроде «анонимного имени», которое остается частью личности поэта после того, как поэзия проходит сквозь него. Поистине чудесный ключ ко всему творчеству поэта окажется в руках того, кто сумеет правильно его повернуть. «Сен-Жон Перс» — это все и ничто, волшебная лампа Аладдина, «сезам, откройся», но в то же время — самая суть, выкристаллизовавшаяся после полного испарения, предельно сжатый поэтический глагол, след божественного дыхания, ощущаемый с первых же страниц поэм.

В конечном итоге, псевдоним очень помог Алексису Леже. Благодаря ему поэт сумел дать некую форму внутреннему напряжению, столь ему необходимому для выражения наиболее совершенного поэтического слова. При этом вовсе не обязательно приспособлять его к социальным, профессиональным или политическим обстоятельствам.

В начале 20-х годов дела быстро налаживаются. По возвращении из Китая, где был написан «Анабазис», а также более короткая «Дружба Государя» («*Amitié du Prince*»), Сен-Жон Перс дает согласие на вначале анонимную публикацию «Песни» («*Chanson*»), которая будет помещена в апрельском номере NRF за 1922 год, затем все в том же журнале за январь 1924 года появятся более крупные отрывки, впервые подписанные «*St John Perse*». Подобным же образом в августе появляется «Дружба Государя», опубликованная в первом выпуске журнала «*Commerce*», который он создает и «инкогнито» вместе с принцессой де Басьяно, Леоном-Полем Фаргом, Валери Ларбо и Полем Валери. Спустя год все поэмы, включенные в сборник «Хвалы» («*Éloges*»), будут переизданы в NRF, но уже в этот раз за подписью *St-J. Perse*.

Потом все останавливается. Алексис Леже отказывается от продолжения литературной карьеры и полностью посвящает себя дипломатическим обязанностям, поскольку начиная с 1925 года он занимает сначала пост начальника кабинета Аристиды Бриана, затем становится главой политического департамента,

и наконец с 1932 по 1940 год является генеральным секретарем Министерства иностранных дел Франции.

Однако его почитатели, так же как и Андре Жид и Валери Ларбо, по-прежнему с нетерпением ждут новых публикаций. Поскольку осуществить переиздания во Франции не представлялось возможным, остается один выход — переводы. Именно так в 1926 году появляется переведенная Г. Адамовичем и Г. Ивановым на русский язык поэма «Анабазис». Принцесса де Басьяно, возглавляющая «Commerce», в июне 1926 года сообщает В. Ларбо, что по заказу русского издателя Я.Е. Поволоцкого, живущего в Париже, двумя русскими поэтами был сделан перевод этого произведения, что Леже отказывается встретиться с ними и что поэтому принцесса просит Ларбо написать предисловие к русскому изданию, которое на французском языке будет перепечатано в NRF в номере от 1 ноября 1926 года.

Какая странная судьба у этого русского перевода! Впервые произведение Сен-Жон Перса было переведено на иностранный язык, опубликовано в Париже, и лишь спустя шестьдесят девять лет предстает перед российским читателем!

17 мая 1940 года, в самый разгар немецкого наступления, Поль Рейно, председатель Совета министров, внезапно отстраняет Алексиса Леже от должности. Спустя месяц Леже уезжает в Лондон, где встречается с Черчиллем, с которым хорошо знаком; затем решает уехать в Соединенные Штаты, где будет вести уединенное существование сначала в Нью-Йорке, затем в Вашингтоне и работать всего лишь скромным консультантом при библиотеке Конгресса вдали от всякой государственной деятельности. Враждебно относясь к режиму Виши, который в октябре лишает его французского гражданства, Леже только один раз — в 1942 году — выступит публично, чтобы отдать дань памяти Аристида Бриана, в канун десятой годовщины со дня его смерти. На встречах с французами, живущими в изгнании в Соединенных Штатах, Леже выражает свою поддержку свободной Франции, при этом он все более решительно заявляет о размежевании с генералом Де Голлем.

Изгнание вызывает у поэта потребность вернуться к поэтической жизни. Американский период будет для Сен-Жон Перса плодотворным: одно за другим с 1942 по 1944 год появляются «Изгнание», «Поэма Чужестранке», «Ливни», «Снега», которые публикуются не только в некоторых журналах в Америке, но и в Буэнос-Айресе, в Швейцарии и даже в самой Франции

на страницах подпольно издаваемых журналов.

С окончанием войны Сен-Жон Перс ощущает новый прилив вдохновения, и его взору со всей силой предстает история комического в «Ветрах» («Vents»), вобравших в себя впечатления от многочисленных путешествий по Северной Америке. Творчество все более приближается к эпосу, и вдохновленный поэт с верой обращается к будущему:

Когда исполинская буйная сила расчистила русло
людей на земле,

В дереве старом с сухими ветвями ожило вновь молодое
струение пророчеств,

А из подземных неведомых Индий уже поднималось
другое, новое дерево возвышенной стати —

Со своею листвою магнетической и с душистым грузом
новых плодов.

Однако «Анабазис» Сен-Жон Перса снова преобразуется, превращаясь на этот раз в плавание, как в раннем детстве, проведенном на Антильских островах, большую часть свободного времени он по-прежнему отдает любимому увлечению — плаванию под парусом. В Америке его снова охватывает эта страсть к морю: поэт совершает морские путешествия к Карибскому морю мимо Антильских островов (при этом никогда не заходит на свой родной остров Гваделупу), проводит время в уединении на островах, разбросанных вдоль побережья штата Мэн, живет отшельником у подножия заброшенного маяка на мысе Хаттерас, изучает прибрежную флору и фауну, миграции птиц на всем пространстве дельты Миссисипи, выходит в открытое море в летнюю навигацию с канадскими рыбаками недалеко от Новой Земли и Лабрадора.

Из этих бесконечных исканий постепенно рождается большая поэма «Створы» («Amers»); публикация ее отдельных фрагментов начинается в 1948 году, однако вся композиционная мощь поэмы проявится лишь в 1957 году. Что касается темы, то по сути их две, они объединены одним и тем же волнением: это поэма о море — самом осязаемом, и вместе с тем о любви — самой выстраданной. Это самое объемное произведение поэта, насчитывающее около сотни страниц. Начиная с «Ана-

базиса» неисчерпаемым источником поэзии Сен-Жон Перс служит все богатство мифов, легенд и историй, что в дальнейшем проявляется еще ярче: все моря ссылаются к подножию древних Городов, где шествуют Трагедийные актрисы и Патрицианки. Но после торжественных «строф» пролога песнь суживается до сокровенного и жаркого диалога между Возлюбленным и Возлюбленной. Кульминация поэмы — а именно: строфа «Узки суда, и ложе наше узко» («*Etroits sont les vaisseaux, étroite notre couche*») была мгновенно признана одной из самых красивых строк о любви во французской поэзии. Призвав всю мощь своего вдохновения, Сен-Жон Перс достигает библейского очарования «*Песни песней*».

После нескольких кратких визитов поэт возвращается во Францию и поселяется на полуострове Жиен, рядом с Тулоном. Он не сразу осваивается: «жителя Атлантики», рожденного на побережье океана, поражает яркость и суровость этих мест. И все же новое побережье принесет поэту обновленную волну вдохновения — в 1959 году появится «Хроника» («*Chronique*»). Эта поэма столь же лаконична, сколь объемны были «Створы». В ней слышен освобожденный, умиротворенный голос «старца».

Ноябрь 1960 года — «коронация», присуждение Сен-Жон Персу Нобелевской премии в области литературы. В течение долгих лет на это были направлены стремления его друга Дага Хаммаршельда, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который в том же 1960 году перевел на шведский язык «Хронику», а ранее, начиная с 1956 года, способствовал переводу «Изгнания», «Ветров» и «Створ».

В 1962 году Сен-Жон Перс готовит вместе с Жоржем Браком художественное издание «Птицы» («*Oiseaux*»). Это еще одна излюбленная тема творчества поэта. Посвящение в нобелевские лауреаты на несколько лет отрывает его от уединенного образа жизни, которого он искал прежде. В 1965 г. на открытии Конгресса, посвященного 700-летию Данте, он произносит речь, которая как бы вторит Стокгольмской, более того, в ней слышится заклинание:

«Итак, великого поэта творение — дар Вселенной, ибо без поэта нет полного стремления, нет обретения нового дыхания.

Дышать с миром становится его насущной посреднической миссией. В этом — тайное и главное призвание поэта. Поэт, в первоначальном смысле слова, — скорее, «l'ex-istant» («из бытия»), он стоит ближе всех прочих к основному принципу бытия. Сколь бы независимым ни хотел он себя видеть, выражаясь, он не может не говорить от имени всех. Житель Флоренции и Равенны, житель Тосканы и Италии, житель Европы и Запада, сегодня он — житель всех стран!

...О Майя, о Диона, античные богини, поэт восхвалял вас в своем христианском небе. Свидетели вы вечности глагола.

Не потому ли мы оказались вместе, что восславляем в человеке бессмертие поэта?

...Поэзия, час великих, дорога изгнания и союза, возбудитель сильных народов и восхождения среди смиренных; поэзия величие истинное, мощь, тайна: возможно, одна лишь она среди всех властей не разворачивает сердца человека в мире людей...

Во имя Данте, поэта, мощи духа и души в истории великого народа и в истории людей, пусть все поднимется с нами!»

Однако долгий путь творческого восхождения еще не окончен. Все более и более краткие, последние поэмы Сен-Жон Перса — словно россыпь маленьких и разрозненных островков огромного архипелага. В продолжение «Хроники», в 1968 году написана поэма «Песня той, что была с тобою» («Chanté par celle qui fut la»), где незримо присутствует Диана, американская спутница поэта, которая станет его супругой в 1958 году. В 1971 г. в «Песни равноденствия» («Chant pour un Équinoxe») поэзия предстает вечной посредницей между бренным человеком и вечной Землей. Еще более лаконичная, всего на одну страницу поэма «Ноктюрн» («Nocturne»), написанная в 1972 году, обращается к «плодам гордой судьбы» («fruits d'un ombrageux destin»), которая завершается и в смиренном отчаянии взывает к «солнцу бытия» («soleil de l'être»). Наконец, «Сушь» («Sécheresse»), в которой за год до кончины поэта воспевается это же настроение, возведенное в принцип. Земля, конечно же, вновь обретет свою свежесть, однако что до поэта, то он привержен «самому зоркому, самому главному в себе» («au plus lucide, au plus bref de lui-même»), готовясь к последней

встрече с Бытием: «Бог тратит себя на человека, человек тратит себя на Бога» («Dieu s'use contre l'homme, l'homme s'use contre Dieu»). Сен-Жон Перс заканчивает свой творческий путь в Гераклитовом озарении, которое не затмевает его трагизма: «Однажды вечером мы вступим на Землю Бога, как племя то голодных, что поело семена свои...» Но до самого конца поэт не отречется от своей миссии: он неустанно будет будоражить мир и божественное, пока не навлечет на себя последнего разряда молнии, который уничтожит «лукавства» поэта, Божьей Обезьяны.



Сегодня Сен-Жон Перс вновь встречается с Россией. Какое же место занимала она в творчестве поэта, который так свободно апеллировал к мифологическим сюжетам великих народов, в той или иной степени преображая их? Россия мало представлена в его творениях. Можно, конечно, вспомнить о князьях в «Ветрах», саблю Строгова в «Поэме Чужестранке», об осетинском языке, на котором говорят «на одном кавказском склоне» («sur quelque pente caucasienne») в «Суши», но это лишь короткие и крайне редкие цитаты, иногда употребляемые для поддержания стихотворного ритма, иногда — для усиления образа или же для звучания темы. Молодой Леже не испытывал особенного интереса к русской культуре: он не любил Толстого. Позднее, преодолев внутренний барьер, он открыл для себя мир Достоевского. 21 октября 1910 г. 23-летний поэт пишет своему другу Жаку Ривьеру, который впоследствии станет директором NRF:

«Вы говорили мне о Достоевском. Нет, я толком не читал его. Пока я к нему еще «не пришел». Но в Вашем вопросе нет ничего смешного... Русская душа мне знакома только через ее музыку, которую я люблю. Я отлично понимаю, что она сильна, потому что обнажена; она свободна, потому как всегда готова отдать себя. Она знает, что такое «ночи без сна», как ребенок, который своими глазами видел преступление. — Это так? Она живет как бы на распутье и в эпоху Римской империи не смогла бы вписаться в школу Риторика. Восхитительный Мусоргский, кажется, тоже любил «Идиота»?»

Итак, ответ дает нам сам Сен-Жон Перс. Его поэзия будет понята в России именно благодаря своей музыкальной силе, богатству языка и выразительности ритма.

Таким образом, российский читатель может сегодня ближе узнать этого поэта. Думаю, он будет изумлен и очарован не меньше, чем страстные коллекционеры Щукин и Морозов, которые 90 лет назад впервые увидели полотна Гогена, художника, которого молодой Алексис Леже полюбил больше всех после того, как в 1904 г. увидел его полотна в Бордо у своего друга Габриэля Фризо.

Сегодня Наталия Стрижевская и Морис Ваксмахер приняли эстафету от своих предшественников — Георгия Адамовича и Георгия Иванова. Благодаря их исключительной работе немеркнущий факел поэта может, наконец, засиять в России — земле, избраннице поэзии.

*Пьер Морель,
посол Франции в России*

А Н А Б А З И С

Перевод Георгия Адамовича и Георгия Иванова

С.Ж.ПЕРС

АНАБАЗИС



П А Р И Ж

5-071117

Предисловие переводчиков

Переводя «Анабазис», мы прежде всего стремились передать с дословной точностью французский текст. Но не всегда это было возможно. В «Анабазисе» строки и страницы прозаические перемежаются с правильными александрийскими стихами и со строками, в которых отчетливо слышится ритмическое построение. Мы старались сохранить это и в русском переводе. По Жуковскому, мы хотели быть не «рабами», а «соперниками». Но вводя стихи в перевод, мы иногда принуждены были жертвовать дословностью. Внимательный читатель заметит, что эти редкие и незначительные жертвы оправданы звуковой близостью к оригиналу.

Георгий Адамович
Георгий Иванов

ПРЕДИСЛОВИЕ

С первого взгляда, нет ничего более личного, чем поэтические произведения. Они определяются и противопоставляются, противоречат одно другому, одно другое исключают. Однако великие памятники этого искусства образуют, в границах каждого языка, архитектурное целое, тем более богатое и поразительное, чем каждый памятник отличное от других, — но целое такого свойства, что в нем ничего нельзя выделить или отставить. Это: поэзия английская, поэзия французская, поэзия испанская, даже в тех случаях, когда эти различные поэзии имели тесные взаимоотношения. Не так называемый национальный гений обуславливает это, а фонетические законы, направляющие развитие всякого литературного языка. «Малерб прекрасно сделал, но сделал для себя», — утверждал Теофиль де Вио, который и о себе думал, что делает только для себя, в то время как в действительности он присоединил свой лирический памятник к малербовскому в той же группе, что и памятники Ленжанда, Этьенна Дюрана, Рокана. Во всех языковых областях можно каждые тридцать лет произвести подсчет поэтических памятников, которые остались стоять среди обломков ста других, воздвигнутых в то же время. Скольких французских поэтов читали между 1895 и 1925? Быть может, сотню, из которых по крайней мере тридцать казались достойными внимания и способными что-нибудь добавить к целому Французской Поэзии. Это было время оживленной работы.

Окончательно разбивали александрийский стих, придумывали стих вольный, искали закон строфы, пытались связать ритм французской прозы с ритмом французской лирики. Толпа ремесленников подражала памятникам прошлого, пробуя омолодить их. Что осталось от всего этого? Сколько долговечных

памятников прибавила вся эта работа к целому Французской Поэзии? Их легко сосчитать: огромный и величественный лирико-драматический памятник Поля Клоделя, возвышающийся над всей группой; памятник Франсиса Жамма, который так верен традиции, что лишь внутри его различаешь новизну и то, что внес он личного в сокровищницу французской лирики; высокая башня и стройный портик Поля Валери. Терраса Л.П. Фарга, где вновь находишь украшения барокко бодлеровского балкона и животворящее влияние внутреннего романтизма Артура Рембо. Наконец памятник — наиболее поздний и еще неоконченный, — С.Ж. Перса: его «Похвалы» и его «Анабазис». Итак, пять памятников за тридцать лет, на сотню обрушившихся и лежащих в развалинах построек. Ужасный и безмолвный разговор! А между тем не все эти опыты были бесполезны, и от некоторых из них остались прекрасные отрывки, которые позднее заинтересуют археологов, — по крайней мере тех исключительных археологов, что умеют ценить, независимо от исторического значения памятников, красоту, в них порой заключающуюся. Тем не менее одни только произведения Клоделя, Жамма, Валери, Фарга и С.Ж. Перса живут и будут жить. (Но дало ли больше этого царствование Генриха IV, одна из наших самых богатых литературных эпох?) Личная поэтическая мысль неизбежно бывает мыслью новой, даже инородной. От чтения первых произведений Клоделя у многих запоздалых ценителей, т. е. ценителей недостаточно просвещенных, создавалось впечатление как от чтения переводов или подражаний иностранному.

А теперь всем ясно, что нет ничего более французского, чем сущность и форма Клоделя. Так будет и с поэтическим видением С.Ж. Перса и с его просодией, основанной на александрийском стихе. Но то, что он вносит во французскую лирику, то, что описывает и вводит во французскую поэзию, нечто очень новое и очень личное: географические, исторические и человеческие, упрощенно человеческие видения тех стран, где он жил: Антильские острова, где он вырос, и Китай, где он провел несколько лет.

«Анабазис» — история подъема от берегов моря к пустыням Средней Азии.

«Самки верблюдов, спокойные во время стрижки, покрытые лиловыми рубцами, пусть спешат холмы по данным полевого неба, пусть движутся в молчании по бледной равнине, добела

раскаленной, и пусть преклонят, наконец, колени в дыму снов, где в мертвой пыли земли гибнут народы».

И не узнаем ли мы виденное нами во сне:

«... на огромных дорогах конница из зеленой бронзы?..»

Но какой путь пройден, как обновлена и углублена лирика со времени описаний Шатобриана! Описания С.Ж. Перса точнее и отчетливее, и вместе с тем полнее смыслом и мыслью. Эти пейзажи находятся внутри его; он видит их в зеркале, находящемся в глубине его сознания; он видит их и удивляется; он овладевает ими и чувствует все-таки, что он им чужд. Он человек, для которого эта планета всегда продолжает быть предметом удивления, как будто он что-то в ней не принимает как свои, и для него созданные, и единственно возможные условия, в которых он принужден жить, и даже тот «цвет человека», который он любит, — он видит и чувствует его, как вещь чуждую. С языком и ритмом, высказывающим его мысли, он обращается с той же отрешенностью, скорей бесплотной, духовной, чем надменной. Язык французской поэзии похож у него на породистую лошадь, достоинствами которой он пользуется, но которую заставляет идти новым, смущающим ее привычки ходом. Ты опишешь то, что до меня ты никогда не описывал; ты терпеливо перечислишь те предметы, те действия, тех людей, которых ни Сэв, ни Ронсар не наблюдали, которых Малерб, и Лафонтен, и Расин сочли бы чуждым твоей области; ты будешь соответствовать тому огромному Материку, тому великому земному пространству, которое не имеет ничего общего со страной, где ты родился и вырос. Он уже заставил его описать тропические острова и моря («Похвалы»).

Теперь с «Анабазисом» он завоевывает Азию, «эту широкую крышу мира», и все-таки он использует и ведет к этой победе язык Сэва, Ронсара, язык Лафонтена и Расина и стих, созданный Малербом.

И если теперь мы взглянем на различные архитектурные целые, образованные в других великих языковых областях, где найдем мы что-нибудь равноценное этому планетарному поэтическому памятнику?

*Валери Ларбо
Париж, 1926*

П Е С Н Я

Под бронзовой листвою рождался жеребенок. Человек положил нам ягоды горькие в руки. Чужеземец. Проходивший. И слух, кажется мне, доносится о других областях... «Привет вам, дочь моя, под самым большим из деревьев года».



Ибо Солнце входит в созвездие Льва, и Чужеземец вложил палец в рот мертвых. Чужеземец. Смеявшийся. И говорит нам о траве. Ах! сколько дыхания тем областям! Как легки нам наши пути! Какая услада в рожке и в пере, сколько мудрости на позор крыльям!.. «Душа моя, взрослая девушка, имели чуждые вы нашим нравам нравы».



Под бронзовой листвою родился жеребенок. Человек положил нам свои горькие ягоды в руки. Чужеземец. Проходивший. И вот великий шум в бронзовом дереве. Смола и розы, дар песни! И гром, и флейты в комнатах! Ах, так легки нам наши пути, ах, столько приключений за год, и Чужеземец, ни на кого не похожий, на дорогах всей земли! «Привет вам, дочь моя, под самым прекрасным из платьев года».

А Н А Б А З И С

I

На трех временах года основываясь с честью, предсказываю мир земле, принявшей мой закон.

Оружие поутру прекрасно и море. Во власть наших коней отданная, земля, без миндальных деревьев.

Нетленное дает нам небо. И солнце не названо, но мощь его среди нас.

И море поутру, как надменность духа.

Ты пела, мощь, на наших путях ночных.

В ясные иды утра, что знаем мы о сновидении, о первородство наше?

На год еще среди вас! Царь зерна, царь соли, и дело общее на точных весах!

С другого берега людей не кликну я. Главных частей городов

не намечу на склонах коралловым сахаром.

Но намерен я жить среди вас.

Вся слава у входа в шатры! Сила моя среди вас!
И чище соли мысль владычествует днем.



Я часто посещал снившийся вам город и на пустынных площадях я торговал своей душой, среди вас невидимой и распространенной, как на ветру пламя терновника.

Ты пела, мощь, на наших пышных дорогах! «Утехе солью все копыя разума ... Я солью оживлю мертвые рты желания!

Тому, кто не пил, восхваляя жажду, воды песков из шлема, не склонен верить я, как торговцу душой»...

(И солнце не названо, но мощь его среди нас)

Люди, люди праха и всех образов, люди деловые и праздные, люди наших земель и из-за границы. О, люди, полузабытые в этих местностях, люди долин и плоскогорий, и самых высоких склонов мира, у обрыва наших берегов; чующие знамена, семена, и исповедники дуновений на Запад; идущие по следам и за временами года, снимающие лагерь при легком рассветном ветре, о ищущие водяные точки на коре мира, о ищущие, о находящие причины, чтобы уйти отсюда, —

не крепче соль вы держите в руках, когда утром, в предчувствии царств и мертвых вод, высоко подвешенных на дымах мира, барабаны изгнания будят у границ

вечность, зевающую на песках.



В одежде чистой среди вас. На год еще среди вас!
«Слава моя на морях, сила моя среди вас!»

Обещанное нашим судьбам дыхание берегов иных и
за пределы несущее семена времени, сиянье века на острие
коромысла весов...»

Математика, подвешенная к сплошному льду соли! На
чувствительной точке моего лба, там, где создается сти-
хотворение, я подписываю эту песню целого народа, самого
хмельного,

тянущего бессмертные днища на верфях наших!

II

Нет глубже тишины, чем в населенных странах, чем в странах, в полдень полных саранчой.

Я иду, вы идете в стране с высокими, покрытыми пчельниками склонами, где сушатся после стирки белье и платья Великих.

Мы переступаем через платье Королевы, все из кружев, с двумя полосами серого цвета (ах! как умеют кислоты женского тела оставить пятно на платье, под мышкой!).

Мы переступаем через платье Ее дочери, все из кружев с двумя полосами яркого цвета (ах! как умеет язык ящерицы схватить муравья под мышку!).

И, может быть, не истек еще день, как тот же человек томился о женщине и о дочери ее.

Смех мудрый мертвецов, почистите-ка нам эти плоды!
Иль нет уж в мире милости под розой дикой?

Идет по водам, с этого конца мира, великое лиловое бедствие. Поднимается ветер. И сушившееся исчезает, как священник, разорванный в клочья...

III

В день жатвы ячменя человек выходит. Не знаю, кто сильный на крыше моей говорит. И вот уже сидят у двери моей Короли эти. И ест Посол за столом Королей (Пусть кормят их моим зерном!). Проверяющий весы и меры спускается по разбухшим рекам с частями насекомых и кусками соломы в бороде.

Пусть! Мы тебе удивляемся, Солнце! Ты столько лгало нам! Зачинщик смут, раздоров, о Бунтовщик, вскормленный хулой и позором! Разбей миндалину моего глаза! Мое сердце щебетало от радости под великолепиями извести, птица поет: «о старость...», реки в руслах своих подобны женским крикам, и этот мир прекраснее, чем кожа барана, окрашенная в красное!

А! удивительней прошлое этой листвы у наших стен и чище вода, чем во сне, слава ей, слава, что она — не сон! Моя душа полна лжи, как море сильна и подвижна под зовом красноречья!

Мощный запах меня окутывает. И встает сомнение, не призрачны ли вещи. Но если человеку грусть его приятна, пусть выведут его на свет дневной! И по-моему, пусть убьют его, иначе будет восстание.

Лучше сказано: мы извещаем тебя, Ритор! о наших бесчисленных выгодах. Моря, слабеющие в проливах, не знали судей придирчивее! И человек, разгоряченный вином, с сердцем суровым и жужжащим, как пирожное черных мух, начинает говорить такие слова: «...Розы багряное наслаждение: огромная земля желанию моему, и кто в этот вечер ограничит его? жестокость в сердце мудреца, и кто в этот вечер ограничит его?» И такой-то, сын такого-то, человек бедный, приходит к власти знамений и снов.

«Наметьте пути, по которым уходят люди всех родов, показывая желтую краску каблука: принцы, министры, военачальники с гортанными голосами, совершившие великое и видящие во сне то или другое... Священник издал для глупцов законы против вкуса женщин. Знаток грамматики выбирает место споров под открытым небом. Портной вешает на старое дерево новое платье из прекрасного бархата. И человек, заболевший перелоем, моет белье свое в чистой воде. Сжигают испражнения больного, и запах долетает до гребца за веслом, он сладостен ему».

В день жатвы ячменя человек выходит. Мощный запах меня окутывает, и вода чище, чем в Явале, плещется, как в иные годы... В длиннейший из дней лысого года, хваля

под травами землю, не знаю, кто сильный шел по моим
стопам. И вот уж ничего не осталось от мертвых, под
песком, и мочой, и солью земли, как от мякины, когда
зерно отдано птицам. И душа моя, душа моя громко
бодрствует у ворот смерти. Но скажи Принцу замолчать:
до поломки копья среди нас,
этот лошадиный череп!

IV

Вот здесь ход мира, и лишь хорошее могу сказать о нем. — Основание города. Камень и бронза. Огни терновника на рассвете

обнажили эти большие

камни зеленые и скользкие, как основания храмов, как дно отхожих мест,

и мореплавателю в пути, опутанный нашими дымами, увидел, что земля доверху изменила образ свой (великие выскребывания, видные с открытого моря, и эти работы по закреплению горных источников).

Так был основан город, и поутру посвящен губным звукам чистого имени. Исчезают лагеря на холмах. А мы, находящиеся здесь, на деревянных помостах

без шляп и босоногие в свежести мира, что мы находим смешного, нет, что мы находим смешного с наших мест в выгрузке девок и мулов?

И что сказать, от рассвета, обо всех этих людях под парусами! — Прибытие муки!

И выше Илиона суда, под белым небесным павлином, пройдя мол, останавливаются

на том мертвом месте, где зыблется мертвый осел. (Надо быть судьями этой бледной реки, без будущего, цвета кузнечиков, раздавленных в их соку.)

При громком и бодром шуме с другого берега, кузнецы овладевают очагами своими. Щелкания бича выгружают на новые улицы возы неизвестных несчастий. О мулы, наши тайны под кожаной саблей! четыре головы, непокорные суставам руки, образуют в лазури живой щит. Основатели приютов останавливаются под деревом и думают о выборе участка земли. Они учат меня смыслу и назначению строений: сторона главная, сторона немая; боковые галереи, передние черного камня и прозрачно-тенистые бассейны для книгохранилищ; прохладные помещения для лечебных продуктов. Затем идут банкиры, свистящие в ключи. И уже пел на улицах одинокий человек из тех, на чьих лбах написано имя их Бога. (Шорох насекомых, без исхода на свалке!..)

И здесь не место рассказывать вам о наших связях с людьми другого берега; вода, поднесенная в бурдюках, поборы конницы для портовых рабочих, и оплата принцев рыбьей монетой. (Ребенок печальный, как смерть обезьян, — старшая и прекрасная сестра — поднес нам перепелку в розовом атласном башмаке.)

...Одиночество! синее яйцо, снесенное большой морской птицей, и заливы поутру, все покрытые золотыми лимонами! — Это было вчера! Птица исчезла!

Завтра празднества, клики, улицы, обсаженные стручковыми деревьями, и чистильщики, увозящие на рассвете огромные куски мертвых пальм, обломки гигантских крыльев... Завтра празднества,

выборы портовых чиновников, вокализы в пригородах, и под теплой тяжестью грозы

город, пожелтевший, покрытый тенью, с девичьими штанами в окнах.



...В третий лунооборот те, кто бодрствовали на хребтах холмов, вновь сложили паруса свои. Сожгли в песках тело женщины. И человек подошел ко входу в Пустыню, — как и его отец, торговец бутылками.

V

Для души моей, дальним делам не чуждой, сто огней городов, оживленных лаем собак...

Одиночество! Наши безумные сторонники хвалили нам наши нравы, но мыслью мы были уже у стен иных:

«Я никому не приказывал ждать... Я всех вас нежно ненавижу... И что сказать о песне этой, которую вы исторгаете у нас!»

Вождь бессчетных подобий, ведомых к Мертвым Морям, где взять нам ночной воды, чтобы промыть глаза?

Одиночество! толпами звезды ходят по краю мира на задворках, захватывая домашнее светило.

Соединенные Короли неба сражаются на моей крыше и, господа высот, разбивают на ней лагерь.

Да пойду я один с дуновениями ночи к Принцам, к памфлетистам, туда, где паденье Белид.

Душа, сроднившаяся в молчании со смолой Мертвых! иголками прошиты веки! слава ожиданию под тенью ресниц!

Ночь дает молоко, остерегайтесь! и пусть медовый палец тронет губы расточителя:

«...Плод женщины, о царица Савская!» Предавая душу наименее сдержанную и носясь над чистыми ядами ночи, я восстану в мыслях своих против действия сна; я уйду с дикими гусями, в пресном запахе утра!

—А! знали ли мы, когда гасла звезда над пристанищами служанок, что уже столько новых копей

преследовали в пустыне кремнекислые соли Лета? «Заря, считали вы...» У берега Мертвых Морей умывание!

Те, кто голыми спали в огромное время года, толпами встают на земле

— толпами встают и кричат

что этот мир безумен! Старец шевелит веками при желтом свете; женщина вытягивается на ногте;

и смолистый жеребец кладет свой пушистый подбородок в руку ребенка, не думающего еще о том, чтобы проколоть ему глаза...

«Одиночество! Я никому не приказывал ждать... Я отсюда уйду, когда захочу...» И Чужеземец, одетый

новыми мыслями своими, находит еще сторонников на путях молчания: его глаз подернут слюной,

в нем ничего человеческого. И земля в своих зернах крылатых, как речи поэта, путешествует...

VI

Всевластные в наших главных военных округах, с дочерьми нашими, одетыми в ткани, как воздух, мы на высотах расставили ловушки счастью. Изобилие и довольство, счастье! И долго стаканы наши, где лед мог запеть, как Мемнон...

И прекращая близь угла уступов стычку молний, огромные золотые блюда в руках служанок косили скуку песков у пределов мира.

Затем был год дуновений на Запад, и на крышах наших, заваленных черными камнями, разговор резвых холстов, преданных радости открытого моря. Всадники на обрыве мысов, под угрозами светоносных орлиц, неся

на копьях ясные катастрофы погожих дней, обнародовали на морях пламенную летопись:

Конечно! рассказ для людей, мужественная песня для людей, как дрожь открытого моря в железном дереве!.. законы, данные на иных берегах, и союзы, благодаря женщинам, в лоне рассеянных народов; большие страны, проданные на торгу под солнечной опухолью, мир на высоких плоскогорьях и области, назначенные к продаже в торжественном запахе роз...

Тем, кто не чуял, рождаясь, тлеющих углей этих, — что делать им среди нас? И может ли быть, что они в общении с живыми? «Вам, а не мне царить над их отсутствием ...» Мы, бывшие здесь, вызвали на границах необыкновенные происшествия и, силы свои истощив, мы радовались среди вас великой радостью:

«Я знаю это племя, основавшееся на склонах: всадники, сбитые в жизненных трудах. Пойдите и скажите им: огромная опасность для тех, кто с нами! Подвиги без числа и без меры, воли могучие и расточительные, и власть человека, утаенная, как гроздь в лозе. Пойдите и ясно скажите: наши жестокие нравы, наши лошади быстрые и спокойные на зачатках восстаний, и шлемы наши, чуемые яростью этого дня... В истощенных странах, где достойны хулы обычаи, где семьи надо собрать как выводки певчих птиц, вы встретите нас, действующих по-своему, собирающих народы под обширными кровлями, громогласно читающих грамоты, и двадцать племен нам подвластных, говорящих на всех языках...

«Теперь вы уже знаете историю их вкуса: бедные капитаны на бессмертных дорогах, старейшины, толпой пришедшие нас приветствовать, все совершеннолетние этого года со своими богами на жезлах и короли, свергнутые в песках Севера, и их дочери, подчиненные им, приносящие нам уверения в своей верности, и Господин, говорящий: я верю в свою судьбу...

«Или вы рассказываете им о мирной жизни: в странах, наводненных довольством: запах форума и зрелых женщин, желтые монеты чистого звона, передаваемые из рук в руки под пальмами, и народы, движимые сильными прядностями — расходы на армию, установка сильного влияния под носом у рек, привет от мощного соседа, сидящего в тени своих дочерей, и обмен посланий на тонких золотых листках, миры, дружественно заключенные, и установка границы, договоры между народами о запруде рек и подати, наложенные на восторженные страны! (постройка цистерн, амбаров, зданий для кавалерии, ярко синие полы и дороги из розового кирпича — разворачиванье материй когда вздумается, варенье из роз на меду, и жеребенок, родившийся в армейском обозе, разворачиванье материй когда вздумается и, в зеркалах наших снов, море, заржавливающее мечи, и спуск однажды вечером в морские области к нашим странам великой праздности и к нашим дочерям

«раздушенным, которые успокоят нас дыханием, этими тканями...»)

Так иногда наши пороги торопит странная судьба и на быстрых шагах дня, с этой стороны мира, самого обширного, где добровольно власть уходит каждый вечер, целое вдовство лавров!

Но однажды под вечер дыхание фиалок и глины в руках дочерей наших жен посетило нас среди замыслов наших об устройстве и счастьее.

И спокойные ветры носились в глубине пустынных заливов.

VII

Не вечно будем мы жить в этих желтых землях, усладе нашей ...

Лето обширнее, чем царство, подвешивает к скрижалям пространства несколько этажей климата. Огромная земля на своем гумне катит, полна до краев, свои угли, гаснущие под золой. Цвет серы и меда, цвет вещей бессмертных, вся земля с травами, зажигаемыми соломой минувшей зимы, и из зеленой губки единственного дерева небо берет свой лиловый сок.

Месторождение слюды! Ни одного нет чистого зерна в бородах ветра. И свет, как масло. Сквозь щели век, соединяющих меня с зубцами вершин, я знаю камень,

запятнанный жабрами, рог молчания в ульях света, и сердце мое начинает заботиться о семействе акрид.

Самки верблюдов, спокойные во время стрижки, покрытые лиловыми рубцами, пусть спешат холмы под данными полевого неба, пусть движутся в молчании по бледной равнине, добела раскаленной, и пусть преклонят, наконец, колени в дыму снов, где в мертвой пыли земли гибнут народы.

Большие спокойные линии уходят к синеве невероятных виноградников. В нескольких краях земли зреют фиалки грозы; и эти облака песков, которые плывут над руслами умерших рек обломками веков...

Тише голос над мертвецами, тише голос днем. Сколько нежности есть в человеческом сердце, неужели найдется ей мера?... «Я обращаюсь к вам, моя душа! — душа моя, лошадиным запахом омраченная». И несколько летящих на запад огромных земных птиц удачно подражают нашим морским птицам..

На востоке неба, такого же бледного, как священная местность, запечатленная бельем слепца, располагаются спокойные облака, там, где вращаются скорпионы камфоры и копыта. Дымы, из-за которых с нами спорит дыханье! земля в бородах насекомых, вся ожидание, земля рождает диковины!..

И в полдень, когда подорожник открывает камни могил, человек опускает веки и освежает он в столетях затылок свой. Всадники сновидений вместо мертвых песков, о тщетные дороги, дыханием обращенные к нам! где найти, где найти воителей, которые будут охранять реки в день их брака?

При шуме великих вод, движущихся по земле, вся соль земли дрожит в сновидениях. И вдруг, а! вдруг, что эти голоса от нас хотят? Поднимите народы зеркал над

покойницей рек, пусть шлют они призыв векам грядущим!
Поднимите камни в честь мою, поднимите камни в мол-
чании, и на страже этих мест на огромных дорогах конница
из зеленой бронзы!..

(Тень огромной птицы проходит по лицу моему.)

VIII

Закон о продаже кобыл. Блуждающие законы. Мы сами (Цвет человека).

Наши спутники, эти высокие странствующие смерчи, корабельные часы, идущие по земле,

и торжественные ливни чудесного состава, сотканые из пыли и насекомых, преследовавших наши народы в песках, как подушная подать.

(В меру наших сердец было столько разлук!)

Не то, чтоб переход бесплоден был: шагом безбрачных животных (наших лошадей: чистых, по мнению старших), много предпринято в потемках разума — много праздного

на границах разума — великие истории о Селевкидах при свисте недовольных и земля, принужденная дать объяснение...

Другое дело: эти тени, козни неба против земли....

Всадники через человеческие семьи, где ненависть порою пела, как синица, поднимем ли мы бич на счастья холощенные слова? Человек, измерь свой вес, сосчитанный в пшенице. Эта страна мне не принадлежит. Что мне дал мир, кроме шороха трав?

Вплоть до местности, называемой местностью Сухого Дерева:

и голодная молния отдает мне области на западе.

Но за ними нескончаемые дороги и в огромной стране забывчивых лугов, год без оков и памятных дней, направленный зорями и огнями

(Утреннее жертвоприношение сердца черного барана).



Земные дороги, некто вами идет. Власть над каждым знаменьем земли.

О странствующий в желтом ветре, вкус души!.. и семя, говоришь ты, индейского папоротника обладает, пусть разобьют его! опьяняющими свойствами.



Насилия великое начало владело нами.

IX

В течение долгого времени, покуда на Запад мы шли, что знали мы о вещах смертных?.. И вдруг у наших ног первые дымы...

— Молодые женщины! и вся природа страны благоухает.



«...Я тебе возвещаю времена великой жары и крикливых вдов над рассеянием мертвых.

Те, что стареют, храня и лелея молчание,

Сидя на горных вершинах, глядят на пески

И знаменитость сегодняшняя на открытых гаванях.

Но наслаждение рождается в плоти женщин, и в наших женских телах есть как бы закваска черного винограда, и нет отсрочки для нас самих.

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство листвы в наших снах.

Те, что знают истоки, находятся с нами в изгнании, те, что знают истоки, скажут ли вечером нам

под чьими руками, давящими лозы наших бедер, слюной наполняются наши тела? (И женщина легла в траве с мужчиной, она встает и оправляет платье, и сверчок улетает на своих синих крыльях.)

«...Я тебе возвещаю времена великой жары, а также ночь под лай собак доит наслаждение из женских бедер.

Но Чужеземец живет под шатром, одариваемый молоком и плодами. Ему приносят ключевой воды, чтобы омыть рот, лицо и пол.

Ему приводят к ночи больших бесплодных женщин (а! еще более ночных при дневном свете). И быть может, от меня он примет наслаждение. (Я не знаю привычек его в обращении с женщинами.)

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство родников в наших снах. Открой на свету мой рот, как медовую местность меж скал. И если во мне найдут изъян, да буду я изгнана!

Если же нет, пусть войду я в шатер, пусть войду я нагой близь кувшина, в шатер

и спутник с угла гробницы, меня ты долго будешь видеть немой под деревом — дочерью моих вен. Ложе настояний под шатром, зеленая звезда на дне кувшина, и да буду я под твоею властью! Нет служанки в шатре, кроме кувшина со свежей водой! (Я уходить умею на заре,

не разбудив зеленую звезду, не потревожив сверчка на пороге, не вызвав лая собак всего мира).

«... Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство вечера на наших тленных веках...

Но теперь еще день!»

— И стоя на ослепительном ребре дня, на пороге великой страны, более чистой, чем смерть,
мочились девушки, раздвинув полотна пестрых одежд.

Х

Выбери большую шляпу, края которой будут соблазнены. Глаз отступает на столетие к областям души. Через ярко-лиловую дверь видны вещи долины: вещи живые, о вещи

превосходные!

Жертвоприношение жеребят на могилах детей, очищение вдов среди роз и слет зеленых птиц на дворах в честь старцев;

Надо много вещей на земле услышать и увидеть, вещей живых между нас!

Празднование под открытым небом годовщин больших деревьев и общественные торжества в честь лужи; посвя-

щение черных камней, совершенно круглых, открытие ключей в бесплодных местностях, освящение тканей на концах шестов у входа в ущелья и буйные приветствия под стенами увечию взрослых на солнце, выставленному напоказ свадебному белью!

Много другого еще на уровне наших висков: холощение зверей в предместьях, движение толпы навстречу стригущим овец, роющим колодцы и холостящим жеребцов; размышление в дыхании жатвы и проветривание пастбищ, концами вил, на крышах; постройка изгородей из глины розовой и обожженной, сушилок для мяса уступами, галерей для священников, жилищ для капитанов, огромные дворы ветеринара, тяжелый труд поддержания дорог для мулов, дорог, вьющихся в ущельях, закладка приютов в неопределенных местностях, счета в день прибытия караванов и роспуск охраны в участках менял; известности, нарождающиеся под навесом перед чанами для горячего жира; опротестование долговых обязательств; уничтожение белых червей под землей, сжигание шипов и игл в местах, оскверненных смертью, выпечка прекрасного ячменного или кунжутного хлеба; или хлеба из полбы; и во всех областях человеческий дым...

А! разные люди на путях и в обычаях их: пожиратели насекомых, водяных плодов, носящие пластыри богатства; земледелец и возделыватель адали, кровопускатель и солевар, мытарь, кузнец, продавец сахара, корицы, кружек для питья из белого металла и роговых ламп; тот, что кроит одежды из кожи, деревянные сандалии и пуговицы в форме маслины; дающий свои навыки миру, и человек без ремесла: человек с соколом, человек с флейтой, человек с пчелами; тот, кто черпает удовольствие в звуке своего голоса, тот, кто занят созерцанием зеленого камня; кто зажигает для развлечения костер из коры на своей крыше; кто стелет себе ложе на земле из пахучей листвы, кто ложится на него

и отдыхает; кто размышляет о рисунках зеленой керамики для бассейнов с проточной водой, и тот, кто совершил путешествие и вновь думает об отъезде; живший в дождливой стране; играющий в кости, в бабки, или тот, кто разложил на земле свои счетные таблицы; имеющий виды на использование тыквы, волочащий следом за собой мертвого орла, как связку хвороста (и дарят перо, а не продают, для украшения луков), собирающий пыльцу в деревянный корабль (И радость для меня, говорит он, в той желтой краске); тот, кто ест олады, пальмовых червей, малину; любящий вкус эстрагона, мечтающий о перчинке; или еще тот, кто жует окаменелую резину, имеющий ушную раковину и улавливающий благоухание гения в свежих обломках камня; думающий о женском теле, сластолюбец; тот, кто видит свою душу при отблеске лезвия; человек, погруженный в науку, в именные списки; человек, имеющий влияние в советах, дающий названия источникам, дарящий скамьи под деревьями, шерсть, окрашенную для мудрецов, и приковылающий на перекрестках огромные бронзовые кубки для жажды; еще лучше тот, который ничем не занимается, — такой-то, и другой, и столько еще прочих! Ловец перепелов в складках земли, те, кто собирают в хворосте яйца, крапленые зеленым, те, кто сходят с лошади, чтобы поднять вещи, агаты, бледногубой камень, обтачиваемый при въезде в пригород (вроде футляров, табакерок и застежек или же шаров для катанья в руках паралитика); те, кто разрисовывают ящички для драгоценностей, сидя на открытом воздухе и посвистывая, человек с палкой из слоновой кости, человек с плетеным стулом, отшельник с руками девушки и воин в отпуске, воткнувший свое копьё на пороге, чтобы к нему привязать обезьяну! а! разные люди на разных дорогах и разных привычек и вдруг! появившийся в своих вечерних одеждах и решающий один за другим все вопросы первенства, Рассказчик, который занимает место у подножья скипидарного дерева.

О генеалог на площади! Сколько рассказов о семьях и о родословных? — и пусть мертвый охватит живого, как это говорится на скрижалях Законоведа, если не видел я и тень всего и достоинства возраста: склад книг и хроник, лавки астронома и красота мест погребенья, древнейшие храмы под пальмами, обитаемые мулом и тремя белыми курицами, и там, за ареной моего глаза, множество тайных предприятий в ходу: лагерь, снявшийся с места при получении новостей, от меня ускользающих, самоуверенность народов у холмов и переправа через реки на бурдюках; всадники, везущие брачные письма, засада в виноградниках, затей разбойников в глубине ущелий и перебежки через поля, чтобы похитить женщину, торговля и заговоры, случка животных в лесу, на глазах у детей, и излечения пророков в глубине бычьих хлевов, немые разговоры двух мужчин под деревом.

Но над поступками людей на свете есть много знамений в пути, много семян в пути, и над опресноками прекрасной погоды в мощном дыханьи земли все перо урожая!..

до вечернего часа, покуда женственная звезда, вещь чистая и данная нам на высотах неба в залог...

Пахота сна!.. Кто говорит о постройках? — Я видел землю, разделенную на обширные пространства, и мысль моя не покидает моряка.

П Е С Н Я

Остановив мою лошадь под деревом, полным голубок, я свищу таким чистым свистом, что нет берегам обещаний, которые сдержат реки (Листья, утром живые, живут по образу славы)...



И не то чтобы человек не был грустен, но, встав до зари, осторожно стоя под старым деревом, опершись подбородком на последнюю звезду, видит он в глубине голодного неба великие чистые вещи, которые превращаются в радость...



Остановив мою лошадь под воркующим деревом, я свищу еще более чистым свистом... И мир не видевшим этого дня, если умрут они. Но о моем брате, поэте, получены известия. Он опять написал очень нежную вещь. И некоторые прочли ее...

ИЗГНАНИЕ

ИЗГНАНИЕ

Арчибальду Маклишу

Перевод Натальи Стрижевской



I

Распахнуты двери в пески, распахнуты двери в изгнание,
Ключи у людей с маяка, и живая звезда растоптана на
пороге:

Хозяин, оставьте мне ваш хрустальный дом в барханах...

Лето сухое, как гипсовый слепок, вострит свои копыта
о наши раны,

Я выбираю погост времен года, прибрежную пустошь,

На дюнах мира восходит дымом дух Божий, восстав из
асбестовых складок ложа,

И молнии дрожью тешат Принцев в Тавриде.

II

Ни берегам посвящать не пристало, ни белым листам
доверять не стану я чистый зачин этой песни...

Другие расцветят пестрядь росписей старых и завитков
алтарных:

Моя слава в песках! моя слава в песках! Но не в скитах
и скитаньях, о Странник,

А в жарких далях, где на сыпучих скрижалях изгнанья
я тщусь начертать, вывести на голых долах строки поэмы из
нетей, поэмы из небытия...

Свистите мятежно, хоралы, над миром, пойте, кораллы,
в чащах глубинных!

Я возвожу из зыбучих созвучий стены, строю замки

над бездной из пепла, пекла и пены. Ночь скоротаю в засохших колодцах, затхлых трюмах и брошенных лодках,

В краях утрюмых безлюдных диких, где ищет пристанища дух величья.

«...Меньше число ветров, чем колен рода Юлиев; меньше каста жрецов освящала союзов.

«Там, куда пески отступают, уходят Принцы изгнания под песнь пустыни,

«Куда паруса относит тугие и уплывает обломок мачты, шелковобокий, как скрипка великого мастера,

«И на древнем поле кровавой брани белеют оскалом ослиные головы,

«И море вечно с тяжелым громом катит на скалы валов черепа крутолобые,

«И что все на свете для них суета сует и тщета, поведали нам однажды под вечер на краю света

«Ратники ветра, стражи песков изгнания...»

Премудрость пены, о чума рассудка, скрипучий осадок соли, молоко известки

Мне за души мытарство наукой воздается... Поведал ветер нам свои скитания изгоя, поведал ветер нам свои скитания разбоя!

Как Всадник, натянув поводья в преддверии безводной пустыни,

Я на огромной арене взморья подстерегаю втайне явление знамений зоревых.

И по песчаным строкам писания для нас перстом авгура водит утро.

Изгнания дней не счесть! Не счесть недель изгнания!
«О персть примет! О предзнаменованья!»

Так Чужестранец молвит в песках «все в мире мне ново ныне»... и собственным словам, словно чужим, внимает.

III

«От начала времен было это стенанье, от начала времен было это сиянье.

«Словно идущих по миру походом полков песнопенье, словно древних народов эпохи исхода перечень, словно рожденье истории из смуты преторов, о словно страстный трепет губ, слагающих Книгу Завета,

«Мерная поступь повествованья по миру, ритма качанье, что необоримо, как темная чара.

«От начала времен было это стенанье, от начала времен было это созданье,

«Гул по миру бродящий преданья устного, дух творящий

по миру идущий без усталости и на всех взморьях мира
одним вздохом исторгнута, одним эхом повторена

«Одна долгая длинная фраза без цезуры, веки
непостижимая разумом...

«От начала времен было это стенанье, от начала времен
было это алканье.

«И в громе растущего вала на взлете буруна, на
взмыве чайний все та же чайка крылья простерла, все та же
чайка висит над простором и вторит стансам изгнанья, и на
всех взморьях мира тем же вздохом исторгнут тот же вопль
нескончаемый,

«Что по песчаным побережьям диким бредет вдогонку
за моей душой нумидийской...»

Я знаю тебя, чудовище! Мы снова сойдемся лицом
к лицу и продолжим отложенный поединок, наш старый
спор закончим.

Я ниц повергну и утоплю твои тупорылые доводы.
Не дам тебе ни единой минуты отдыха.

На стольких взморьях мои следы к утру смывали
волны, на стольких изголовьях душевных мне в душу вгрызлся
рак безмолвья, и вновь в пустыне ложа меня недуг молчанья
гложет.

Что тебе нужно от меня, дух первородства? Ка-
кое слово ты мнишь похитить, с губ моих сорвать на-
сильно,

О сила-странница, стучащая в ворота? о Нищенка,
что с нами ищешь ты на путях-дорогах, где бродит Расточитель-
промысел?

Поведал ветер нам премудрость старости, поведал ве-
тер нам премудрость младости... Восслав свое изгнанье,
Принц!

И на меня внезапно веет силы присутствием, хотя мотив
небытия и тлеет еще под спудом.

«...Из ночи в ночь встает стенание немое моря
возле двери, из ночи в ночь столетие растет, вздымая
чешуи времени,

«И на всех взморьях мира растет упорно все тот же
ямб неукротимый, моею плотью и кровью вскормленный!..

«Высокий рокот не порушит брег твоего приюта, откос
порога не подточит, о Меченосец, в засаде утра,

«О Кормчий грифов на мгlistых тропах и кручах неба,
Кормилец жгучих дев железноперых!

«Все нерожденное дрожит в ознобе зари во чреве, и плоть,
исторгнута утробой востока, трепещет от восторга!

«И гул идет по свету нарастая, победоносное души
восстание...

«Не умолкай, стенанье, не давай мне растерять в песчаных
барханах верность людскому клану! (Кто еще помнит мое
происхождение?)»

IV

Странна была та ночь, где сонмы сонных ветров сошлись на перекрестках комнат...

И кто там бродит на задворках мира, в предместьях света, кто, плача, меня ищет до рассвета? Что там за девочка-подкидыш, отвергнута, волочит крылья, спеша к соседскому порогу, что там за девочка бездомная

Блуждает в час, когда созвездия, словно засохшие соцветья, заходят в тучи, облетают в пески зыбучие, ища созвучия для изгнанников и земли необитаемые?

Вечной скиталицей неприкаянной ее нарекали отшельники, слыла блудной дочерью в зеленых гротах Сивилл непорочных, и утро с шелестом стерло дочиста босых ног отпечатки со страниц писанья песчаных возле порога...

Вы были усердны, служанки, но тщетно батистовые вы простыни стлали, не сгуя, ждали истово пришествия слова чистого.

Под жалобы иволги зори ушли дождливые мгlistые, ушли Гиады плаксивые на поиски слова чистого.

И на побережьях старинных, на древних взморьях мира звучит мое имя... Над пеплом инцеста витает дух Божий.

Когда рассеялась в песках сухая горсть, осадок бледный дня,

Истории уперся в небо смерч, все втягивая в круговерть летучей тучи предвестий и кочующих примет, осколки лет вертя согласно на радость схолиасту.

Кто там в эту ночь, кто самовластно похитил с губ моих, с губ чужестранца эту песню, унес без спросу?

Так соскриби, о скриб, с таблиц песчаных воск тщетных слов и стилосом сотри с дюн теплый оттиск,

Прибои смоят с памятных досок, прибои смоят с крутых откосов славные даты года.

А в эту пору, о Нищенка, с камня зеркал непроглядных в гротах прибрежных, в обветренных нишах

Жрец с бесшумной походкой фетровой в перчатках грежевых стирает манжетом мантии горностаевой ночи запретную тайнопись.

Итак, едина участь плоти во власянице соли, плодов, возросших в пепле наших бдений, в песках каленых розы малорослой, ночной жены до света уводимой...

Ах, остья суеты на веялке забвенья, безумья посвист в дудочках изгнанья: плавучий остров в чистом океане, кочевье в чистом поле сновидений,

Ночные строки находят зори в золе камина, как остов крыльев мезозойских в капкане камня, в янтарной капле заката...

Так пусть спалют, сожгут в песчаном тигле клубки из пакли, перьев и ногтей, из басмы локонов и бахромы лоскутьев,

А строфы, сложенные накануне, а строки, сложенные втуне, что были молвлены однажды вечером в дупле у молнии, они, как пепел на материнском млеке, бесследно сгинут, никто не вспомнит...

Я из крылатых истин, что вам служат хламом, слагаю кристально чистый язык безвестный,

И мне еще писать поэму песнь за песней на кальке гальки и на сыпучем песков пергаменте.

V

«...Как тот, кто входит нагим в бурливое море, как тот, кто слагает по праву гимны во славу прибоя (чей высится лоб под шлемом, приподнимая забрало),

«С руками пустыми, как при рожденьи, с устами чистыми, словно младенец, и рокотом времени в коралловых ушных раковинах,

«Я снова выброшен на родной берег... И нет истории кроме души скитаний, и нету кроме души достояния.

«С пыльцой и опылью, песком и щебнем, трухой, ракушками, тычинками, пестиками, простое чудо, тщетное, хрупкое, чудо присутствия, чудо быть здесь на исходе суток...

«По хрупким скелетам гаек, по гальке уходит дня детство грустное, в острова зелень кутаясь, но легче, чем

сумрака поступь по трубчатым костям альбатросов и чаек, бриз, что капризные волны качает, чарует дев чешуйчато-хвостых и ластится к острову...

«О смолы! о взморья! Пророческий пурпур божьей коровки закатного солнца, королек окоёма, и на арене охряной, не знавшей ристалищ, ключи изгнания сияют, и день пронизан зеленой хордой подобно рыбе экваториальной...

«Полдень поет, о печаль!.. и чудо возвещено песнью полуденной, о чудо! и смех сквозь слезы прибавить будет довольно едва ли...

«Но что же, о что исчезает, чего не постигнешь внезапно? в чем же, о в чем зноя изъяны?..»

Я знаю. Я видел. Но в том не сознается никто. И день свернулся, как молоко.

Ищет тоска свою тень на земле Аршакидов; и путница-печаль бредет, накинув свой плащ польный, волоча по миру котомку, где ковыль и молочай; пространство ястребов досталось нам в наследство...

Утеха мудрых лицезреть рожденье ересей!.. Весь небосвод сегодня Сахель, саванна, куда за каменной солью уходят азалайи караваны.

И не одно столетие истории свою усталость скрывает стойко.

И солнце прячет в песок горячий свои блестящие сестерции при приближеньи тучи, что таит грозы сентенции.

О крепости под вод зеленой толщей!.. Пусть водоросли на дне морском нам повесть об изгнании продолжат... и пусть в поэте будят грусть

Резные кроны известковые, цветы глубин на цоколях атоллов и бездн соцветья: кружева на маске смерти...

VI

«...Кто бродит в полночь по галереям гулким, чьим шагам эхо вторит, кто исчисляет комет траектории, во время войн бережет хрустальные линзы больших телескопов; кто по рассветным тропам идет очищать источники дальние, спасая народы от мора; тот, кто в открытом море с дочерью и домочадцами денно и ночью мир оттирает, патину снимает с простора...

«Кто ходит за олигофренами в домах призрения за купоросными стенами, когда сияет Воскресение в пшеничном поле слепящим полднем; кто по скрипучим лестничным маршам идет к оргáну собора в час, когда армии входят в город победным маршем; кто в час многотрудный вдовый, когда сгущается сумрак, грезит о неведомых рудах, о заповедных

недрах странных латомий; кто просыпается в море в непонятной истоме, разбуженный ветром с острова, душным и острым, настоящим на аромате бессмертников и иммортелей; кто не может уснуть на суше в постели в объятьях меднокожей мулатки, кого тревожит пряный и сладкий запах подмышек ночи, низко нависшей иссиня-черной; кто и во сне дышит с морем согласно и при приближении шторма поворачивается на простыне, как парусник при смене галса...

«Кто метит лики скал высоколобых таврами ориентиров для мореходов и белые кресты наносит на переносицы опасных рифов в узких проходах и правит лоции; кто молоком омывает скудным темницы тени у подножья семафоров, квадраты гравия и цинерарии средь шпал опалы на радость мудрым; кто на весь долгий сезон муссонов селится на полуострове вместе с пилотами, вместе с лощманами у хранителя древнего храма, что высится синими контрфорсами на уступе террасы краснозернистой или на пике сизого камня; тот, кто наносит на карты круговой путь циклонов и смерчей; кому звездным вечером ярко расцветены звездные трассы; кто и во сне пролагает чабанские тропы и осушает топи; кто добывает красную глину из глубины пересохшей протоки, чтоб вылепить из терракоты мечту свою в яви; кто в порту по своей охоте встает на вахту, берется выветрить компас яхты...

«Кто уходит на поиск девственных дебрей, где травы по пояс, и по дороге лечит больное старое дерево; кто после грозы взбирается на вышку высоковольтной опоры, чтобы проветрить заросли, чтоб запах гари не стал привычным кустам ежевичным, чтоб горелой резиной не пропахли низины; кто объезжает в безлюдной пустыне на верблюдах телеграфные линии; кто своими руками прокладывает подводные кабели; кто в подземных камерах лабораторий под городом, ниже погостов и трубопроводов, снимает показания сейсмографов.

«Кто отвечает в дни наводнений за дамб надежность, кто знает водных фильтров строенье, кому понятно брачное роенье поденок, кто бережет прозрачность водохранилищ и

нерестилиц; кто в дни народных волнений хранит от людского стада за коваными воротами со стершейся позолотой жирно-жаркие оранжереи Ботанического сада и дендрарий зеленый, и эталоны в Палате Мер и Весов; и семенной фонд табачков; и древний Монетный Двор и Депо Маяков, свалку ламп и легенд; кто совершает ночной обход кунсткамеры в осажденной столице мимо темных витрин, где хранится павлиний глаз, махаон и ночница, и в пустом зале фонарь подносит к ковчегу из ляпис-лазури, в котором принцесса слоновой кости плывет по теченью веков в парике из сизали; кто укрывает от армий редкий гибрид гималайской розы; кто при банкротстве державы спасает от умирающаго роскошь конных заводов, старинных огромных заводов, чьи кирпичные стены светят пурпуром сквозь зелень под бормотание бури, как роз шпалеры багряные, как гинекей старинный, где курения, фициамы и дикие принцы...

«Кто ставит стражу в дни бунта на берегу бухты возле пустых опечатанных пароходов у причала, в устье рек цвета йода, где в лимбах иллюминаторов кают-компаний в чехлах беспамятства стоит свет заката агавой гавани, вечной когортой порта; кто не уходит с простым людом с верфи, обезлюдевшей после того, как неуклюже сполз со стапелей корабль-трехлетка; тот, чье ремесло — кораблей воспитатель; чьей душою смолисто пропахла обшивка нового парусника; кто в час равноденствия ждет одиноко на крышах доков, на гребнях каскадов и водопадов, на высокогорных плотинах и в океане в путину; кто неутомимо впитывает живое дыхание мира сквозь затхлость силоса в темных башнях, в амбарах колониальных товаров, где дух цикория и кориандра; и на складе полярной зимовки, где в полнолуние стынут, наливаются силой зеленые зерна, словно творенье в скорлупке постылой; кто в огромных аудиториях объявляет закрытыми конгрессы по орологии и климатологии, ибо время настало посещать Дендрариумы и Аквариумы, заходить в парки и ювелирные лавки, увидеть веселые кварталы и мечтателей паперти...

«Кто открывает счет в банке для научных исканий, кто входит под купол нового создания в смятении и глядит на арене времени в глаза грядущего творения; и третьи сутки мать стережет тишину в его доме, и третьи сутки никто кроме старой служанки к нему не входит; кто скакуна идет к источнику, хоть сам пить не хочет; кто вспоминает в сумраке седельного сарая запах жгучий, как брызг сургучных; кто, как Бабур, придя с поля брани, сменяет латы на платье поэта, чтобы воспеть цвет вечернего неба; кто грустит беспричинно при освящении нефа, где тайну поющего эха хранят кувшины в стенах подобно эфам виолончельным; кто содержит на землях предков последних сокольничьих и выжлятников, последних цапель и ловчих; кто в своей лавке в городе продает лощи и гербарии, и старые bestiarii; кто исправляет изъяны фонетики; кто борется вечно с эрозией языков и наречий; кто формулирует точных наук постулаты; кто первенствует в семантических дебатах; кто, календари листая, рассчитывает даты переходящих праздников (кому известны римский индикт, эпакта, золотое число и большая воскресная буква); тот, кто наводит порядок в кладовых словесности; тот, кому было дозволено повидать в поднебесье глыбы пламенем отполированные...

«Все они принцы изгнания, что не нуждаются в моей песне».

Чужестранец на взморье мира, ведущего вечную тяжбу с утром, подносит к уху залива раковину со смутным гулом забвения:

Гость случайный наших предместий, да не преступишь ты Ллойдов порога, где нет веры твоему слову и твое золото неведомой пробы...

«Я буду жить в моем имени», ответишь в порту, заполняя бумаги. И на длинный прилавок менялы лишь россыпь слов смятенных положишь,

Словно тяжелые черные гривны, из-под земли извлеченные молнией.

VII

«...Скоропись молний! О первозданный язык изгнания!
Далек тот берег, где в безмолвье пылает огонь посланья:

«Два женских лба под пеплом один перст метит; два
женских крыла за светлым окном один вздымает трепет...

«Как нынче спали вы под молнией развесистой, о стра-
стотерпица, с душой-паломницей мадонны-странницы, как
спали вы под фосфорною кроной, о мать внесенного в листы
проскрипций, как спали вы, когда на амальгаме зеркальной
во тьме алькова лик просиял изгнанника сыновний?

«И ты, стремительнее молнии, ты, ослепительнее молнии,

что в темноте его душе светила долго, подруга силы его, слабость его силы, ты, чье дыхание от уст его вовек неотделимо,

«Присядешь ли на ложе опустелом с душой трепещущей
осиротелой, как будто брошенный птенец взьерошенный?»

«Изгнанья дней не счесть! Изгнанья дней не счесть!
Кляни, о женщина, ту песнь, несущую дурную весть, что
бьется в дверь берберской птицей...»

«Ты первой различишь в ночи наши шаги в громе грозы,
в эхе ненастья, твой крик найдет, настигнет влёт орлиный
клич неуловимый счастья!..»

...Умолкни, слабость, замолчи, о запах женщины в
ночи, миндальный запах дали.

Скиталица всех побережий, скиталица морей безбрежных,
умолкни, нежность, затихни шорох крыл, что скрыла мгла
над лукой моего седла.

Вновь я пойду дорогой нумидийской вдоль моря древней
степью, но не вербена на губах, а лишь как соль Старого
Света закваска терпкая.

Селитра и тротил — изгнанья лейтмотив. Мысль мчит к
девяню по костям следов. И молния откидывает полог над
колыбелью промысла. И тщетно буря тасует межи разлуки,
перебирает все вехи отсутствия.

Те, кто встречается на штормовых распутьях соленых
Индий атлантических, кто новые идеи ищет в бездн темной
глуби, кто в рог трубит у врат грядущего,

Тот знает, как в песках изгнанья свищут страсти, сви-
ваясь в кольца под хлыстами молний... О Расточитель,
храни оккультную силу твоих песнопений в соли и пене
Июня!

Как тот, кто диктует вестнику послание строчку за строчкой: «Жен ваших лица закройте, сыновей ваших лица откройте, и велено всем вымыть камень порога... Я назову вам источники, где мы чистый гнев омоем».



Настало время, поэт, открыть твоё имя, твой род и происхождение.

1941

Л И В Н И

Кэтрин и Фрэнсису Бидл

Перевод Натальи Стрижевской



an die (worden)

I

Дождь мангровым деревом крону корней раскинул над
Городом.

Молокососы-кораллы множат упорно в извести мгливой
свои малокровные орды,

И нагая, как ретиарий, Идея под хлещущим гребнем
в сквере косы рассыпала гордо.

Пой, поэма, под громкий гогот вод неотвратимость
темы,

Пой, поэма, под дробный топот вод неукротимость
темы,

Ей право первой ночи непорочных Пророчиц,

Расколот золотой кокон и тонет в лилово-синей
трясине ночи.

И у меня на подушке, о плутовка! на теплой опушке
дремы

Разметалась, ворочается, заголилась бесстыдно
роза поэмы.

Боже великий, смеха владыка, земля, что дымитя
на вертеле ветра, как мясо вепря,

Вдовы глины под ласкою ливней невинных, луга под
босыми ногами бессонных,

И пенные росы, грунтовые воды, как вина, на них ли
настоен напиток забвенья?

Господи Боже, Боже великий, смеха владыка, здесь
снов земные угодья,

Здесь к непогоде в дюны уходит эхо от многоярусной
ярости моря,

Здесь смертный одр земли в испарине, новорожденный
час в свивальниках и в моем сердце просодия невиданной
оды.

II

Табор безродный, мамки-цыганки, спутники бесфамильные,
в чьем взоре прапамять кочевий старинных! О Ливни

Влекущие в гущу людского сословья, с кем нынче
разделим мы честь наших бдений?

У чьего изголовья чиркнем огнивом, затеплим под вечер
журчащие свечи?

Анды безмолвия на моей кровле, ликующий колокол
моей крови во славу вашу, о Ливни!

Я с вами, постойте: на остриях ваших копий мои
алмазные копи!

Пена кипит на губах поэмы, как молоко кораллов!

А у зачина фразы пляшет, словно змею заклиная,
Идея нагая, как нож в кипятке мятежа,
И ритмом старинным, древним мотивом смиряет
дикарку-поэму.

Боже великий, смеха владыка, храни меня от восхвалений,
песнопений и благоволений.

Боже великий, смеха владыка, сколько обиды на
губах ливня!

Какие туманы обмана друг друга сменяли под клином
дождей журавлиным!

В светлой полночи полдня промолвим негромко полслова,
нового

Смысла бытия отыщем крупцу... Дымок на камнях очага
снова курится!

И ливень на кровле вздыхает сонно и тушит лампу
в наших ладонях.

III

Сестры Ассура ведут своих братьев, Ливней великие рати
походом на землю:

Хрустальные латы, булат и золото, пальмы султанов
на шлемах,

Словно Дидона, чей след, словно гемма, белеет у стен
Карфагена,

Словно супруга Кортеса, что смотрит с портрета, глиняным
элем пьяна в лени лета, в апокрифической тени леса.

Амазонки лазури мечи нам пометят лунной глазурью и
жемчугами,

Синью засеют Апрель, столпятся в зеркал амальгаме!

Грохот шагов под окнами спален, топот потоков
во мгле купален.

Амазонки лазури, о стрелы-струи, звездные сбри, лучи
из луков летят по ветру!

Танцорки лазури, о струи-плясуньи вод хороводы водят
по свету!

Лезвий железный хвост, мороси порох, то девы-
возницы с крутой колесницы орлов раздают легионам,

Заросли пик опоясали город, для юного племени — звонкая
поросль, лозы клинков, серебряный стог — дождя расплетенные
косы.

О сноп слепящей стали! о стебли сабель! литые колосья
проливного покоса!

...И Город хрустальный двоится в мокром сандале,
улиц стеклянные бусы, мудрость фонтанов бронзовоустых,

И ветер листает, иностранец читает наших афиш
проскрипции,

Ветер по дому гуляет, индианка-служанка с квартирантом
ложится.

IV

Весеннее донесенье Эдилу, исповедь ветра, что не-
истоцима у нашей двери... Радость, убей меня!

Мир овеен холодом новым! и повсеместно нового глагола
звучит возглашенье

Как голос логоса, слово безмолвия, как самого бытия
речение,

Вещие речи на устах сущего, вечные реки, текущие
к устью.

Божие росы сияют на лицах, бриз медоносный, готовый
пролиться зельем целебным

В серебряных стеблях трав в потраве людских
раздоров!

Табор безродный! о сев упорный, споры и опыль, летучие
тучи дикорастущих!

С каких вершин горних вы были повержены в город?
какие подзвездные

Бездны разверзлись, где грифы под градом камней
висят на крестах своих крыльев?

Что нашептываете под сурдинку, что за сны принесли вы,
откуда, смертоносные как цикута?

Что накрапываете по суглинку? из каких весей яви пали,
что их песни уносят память?

О симония, на нас опрокинув святые сосуды, свои при-
ходы ужель разорили?

Вы побывали в лачуге тучи, где дрожжи дождя
подходят на инее и индиго, на амбре и перламутре,

И там, у зарницы-блудницы распутной, в зорях
разорванных и стружках утра,

Откройте, Ливни, какие строки вам на лилейной велени
горели, какое слово на льдинах голых возжег курсивом
зеленый сполох.

V

Мы ваших приходов постигли величье в тщедушной
и душевной тщете столичной жизни, обугленной в тигле
будней,

Но резко пахнуло озоном прозрений, смыслом смоли-
стым на мокрую зелень при первых порывах бури,

Вы нам облик людской вернули, вы нас лепите заново,
Ливни, и под маску-личину проник запах свежей глины.

Но на высотах орлиных ужель не обрящем память?
Иль пропоем забвенью псалом в темной аллее сада, топча
листы золотые библии листопада?

Тропы в тюльпанных полях сновидений, озер обмелевших
бельма, кость камня в горле колодца ужель недостойны пера
стихотворца!

Старинные розы в руках инвалида, дети в дупле столетней оливы, над гроздью муската грузные осы, пчела над левком и узкие лестницы в тайных покоях вдовых молний ужель не достойны ни слова?

Нежность агав и алоэ, сладострастье магнолий и безгрешных бесплодые, земля, иссушенная познания зноем.

Зеленоволосые грозы плетут изумрудные косы, глядясь в зеркала банкиров. В батистовой тине, в муслиновом иле тонет облик богини.

И молодые идеи садятся за стол со столпами империи. Безмолвные толпы строятся немо строка за строкою на белых полях поэмы.

Залейте, Ливни, крутые утесы, залейте, залейте кресты и стелы, надгробья Габсбургов, катафалки маршалов, мавзолей еля, улы лжи.

Развейте, развейте с крутого утеса прах войн недавнего прошлого, развейте над морем и пепел белых, приплывших когда-то на каравеллах.

И пусть он вечно сидит на железном троне, на четырех ветрах, на чугунной треноге, на голой скале под грозовым небом, обуреваемый своим бредом, что преисполнил народы гнвом.

И будет виться над морем вечно дым злодеяний и благодеяний, зола преданий, житий, сказаний — истории головешки.

Пока в лепрозориях и обителях терпкий запах термитов и дух пьянящий белой малины узор свой сплетают и на ноги ставят Принцев болящих...

«Я хотел, я хотел жить с людьми, но земля явила нам душу свою чужестранку...»

VI

И одинокий, неутолимой тоской гонимый, пусть оставит
во храме маску и скипетр власти!

А я принесу губку и уксус столетней оливе, израненной
цепью земли.

«Я желал, я желал жить вдали от людей, только Ливни
шли мимо...»

Безмолвные пилигримы, о безликие мимы, на край света
в разгар несусветного сева гонимы!

Где на огонек пастуший свернете под вечер с дороги
к людскому порогу, где постучитесь в двери к истории
босоногой

На простодушный свет роз в наших спальнях, где
распускается темный цветок желанья?

Признайтесь, вы наших жен вождедали за стрельчатой изгородью сновидений (Тени в укромных сумерках дома, миг мотыльковый, касанья нежнее усиков и хоботков насекомых)...

Но не для вас ли в сыновних альковах мускусный мускулистый запах войны витает? (Так народ сфинксов под гнетом знаний, знамений, предвестий спорит о власти у врат наместника...)

О Ливни плевел, поток диких злаков влекущие в Город, на голой брусчатке репейник и кактус, колбочки и иглы топорщит булыжник,

Поступью новою осиянны новые камни... Склоняйтесь над драгами дождевыми, считайте смаргады, опалы, сапфиры, старатели и ювелиры!

И жестокосердный средь сутолоки многолюдной внезапно тоскует о саксауле пустыни: «Я желал, я желал жить без ласки, но Ливни...» (Будни взывают к буре на крыльях бунта.)

Ступайте, метисы, мы остаемся в дозоре... Те к влаге святой припадают, чья маска-личина из глины.

Отмыты с асфальта отметины фальши и с листьев лавра символы славы, мы прочитаем тебя, земля, залитая тушью писца-копииста...

Ступайте и нас оставьте на наших угодьях старинных. И пусть в пути мне предшествует слово! Мы сложим для странников песню дорог неторёных и для бессонных изгнанников песнь простора:

VII

«Несть числа нашим дорогам, и нет у нас ни приюта, ни кровя. Те к влаги святой припадают, чьи губы сухи, как глина. Вы, омывающие трупы в утробных водах утра, — земля покуда в терновых путях войны — омойте также лица живущих; омойте, Ливни! омойте скорбные лица гневных, омойте нежные лица гневных... ибо узка их дорога, и нет у них ни приюта, ни кровя.

«Омойте, Ливни, неколебимый престол для сильных. В сиянье силы воссядут в исполинском застолье все те, кого не пьянило вино людское, кто не упивался слезами иль снами, кто сердце не осквернил, чье имя отзвука не находит в грохоте труб иерихонских... в сиянье силы воссядут в исполинском застолье на неколебимом престоле сильных.

«Смойте медлительность и колебанья с путей деянья, смойте медлительность и приличья с путей познания. Смойте, Ливни! смывайте бельма с глаз благовоспитанных, благополучных, с глаз благоразумных и благонадежных, с глаз благородных и одаренных; смойте завесу и с глаз поэта, и с глаз покровителя, и с глаз праведника и правителя... с глаз всех медлительных, свято блюдущих приличья.

«Смойте, Ливни, прочь благолепие с лиц Благодетелей, и благоденствие с Деятелей, и сор суесловья, и красноречья с уст публичных. Омойте, Ливни, руки судей и законников, и руки бабок повивальных, и руки, саванткующие покойнику, омойте руки слепого зрячие, омойте руки калеки кряжистые и грязную руку, воздетую над челом человечества, донныне тянущуюся к хлысту и уздечке — при благолепии своих Благодетелей, при благоденствии своих Деятелей.

«Омойте, Ливни, омойте свитки истории народов, омойте памяти скрижали: и своды древних летописцев, и своды хроник монастырских, преданья, были и архивы научных изысканий. Омойте, Ливни, омойте хартии и билли, указы третьего сословья, указы царские и буллы папские, статьи союзных договоров, статьи раздоров; омойте, Ливни, листы столетий, весь свиток длинный, пергамент плотный и переплеты телячьей кожи, темнее камня тюремных камер иль стен приютов для прокаженных, темнее желтой слоновой кости или оскала черепов конских... Омойте, Ливни! Омойте памяти скрижали.

«Омойте, Ливни! слова великие в сердцах людских: омойте вечные слова человеческие, омойте вещи слова человеческие; строки пророческие, строфы стройные; святые молитвы, литые гимны. Омойте, Ливни, в сердцах человеческих всю радость речи, звон кантилены и вилла-

неллы и переливы элегий и рондо; соль парадокса и сладость довода; омойте долгие ночи мечтаний, омойте бессонные ночи познания, омойте, Ливни, празднества разума, омойте лучший дар человеческий в душе человека, полной неутолимых желаний, неутомимой в деянии... омойте, Ливни! дела великие сердец людских».

VIII

...Дождь мангровым деревом крону корней уносит из
Города, ветром небес занесен к нам смысл-скиталец.

Да не покинет он нас отныне! И вам не отринуть тщетность
мудрости прежней,

И да пребудет над моей кровлей тот, кому внятно
Ливней пришествие, земное странствие в липах лепечущих,
символы и предвестия шелеста шествия.

Пустые посулы! Сев, хлынувший всеу! Дым застилает
дорогу людскую!

Молния у порога! проводим за черту городскую, вслед
поглядим печально на

Великие Ливни, — под плетью Апреля пыльные спины глины, — великие Ливни, как флагелланты, исхлестанные бичами, бредут вереницей длинной.

А мы остаемся нагие один на один со сладкой одурью прели и гумуса, где просыпается юная земля-мулатка.

...Парной оазис земли непаханой в зарослях папоротника, останки мамонта, осколки мрамора,

И тело розы, истрепанной ветром, пахнет землей, словно женщина, ставшая женщиной.

...Город, ослепший от блеска ста тысяч лезвий, полет соколиный бликом по лабрадорским плитам и небо, в чаши фонтанов разлитое,

И золотой поросенок в тающей стеле солнца на площади сонной, ликующий сурик портала, и у калитки сада черная тень на серебряных лапах встала.

И юные вдовы объаты желанием бурным, в черном крепе, как в склепе, бедер бледные урны.

...И ветер бежит по гребням речи, пена кипит на губах поэмы,

Брежут новые мысли и отступают пред поступью смысла:

«Дивна песнь, дивна песнь, о, как дивна песнь дождей уходящих!..», но Ливни! как немо лежит моя ненаписанная поэма!

IX

Ночь наступила, закрыты ворота, о сколь тяжелы
небесные воды на мокрой латыни лавров!

На остриях светлых копий — смысла алмазная россыпь!..
На коромысле мысли чаши весов стоят в равновесье,

Боже великий, смеха владыка, вы разнесете сегодня смуту
в подзвездные веси.



...Да будет вам радость, Боже великий, на иссушенном
пороге книги, где мой смех распугает зеленых павлинов
славы.

С Н Е Г А

Франсуазе-Рене Сенлеже Леже

Перевод Натальи Стрижевской



I

А потом снега внезапно пали; первый снег неведенья, что в невесомость нитей сплетает в небе явь и сновиденья и вновь забвенью в память претворяет; и время веет холодом холста. Серела соль рассвета и светлел и мерк светильник, сумерки редели; в шестом часу примерно было нам даровано убежище судьбы, где белизна и словно хлопья реют в лучах восхода оды тишины.

Ночь напролет, пока полет перо неслышное в тиши и тьме вершило, к земле клонясь под ношею души, кружился снег, и множились, и жили своею жизнью города и ввысь влеклись, словно утратив вес, и рос рой светляков в лесах

стекла и стен. И в этом смысл был затаен, та суть, что снам ясна, словам неуволима и перед нею разум нем.

Ничто не познано, ничто не поздно, ничто не вновь, ни яви и ни снов, а лишь на глыбы высоколобые слетают и тают снежинки обнаженные, летит на камень плит, мерцает на лету чистейший снег, чей век недолог, словно трепет век. На старой бронзы зелень, на острия легированных лезвий, на песок и щебень, на дюны грубого фарфора, на дюймы льда на витражах собора, и на сверкающие плиты лабрадора искристо-синего, и на ветви в инее, звенящие, как шпоры. Ничто не сказано, ничто не кануло, ни снов, ни слов,

а только вздох рожденья, что похож на дрожь кинжала, извлеченного из ножен... Нежданно все оснежено, и можем мы лишь дивиться чуду: наблюдать, как поздняя заря безмолвно, сове подобно расправляет перья при первом дуновении дольнем, распрямляет стан белой далии. И отовсюду нам выюжат дали. Да снизойдут к нам снега во славе, да ниспадут на террасы светлые, где Архитектор прошедшим летом увидеть дозволил нам гнездо козодоя.

II

Я знаю, корабли мычаньем долгим взывают гневно к богам и людям, в метельном мраке замкнуты плотно, как в створках устрицы, и тщетно мира нищета взывает к пилотам, простирая реки к устьям. Я знаю, у начала вечных рек венчанье вод свершается и свода небесного, сто белоснежных свадеб ночные бабочки справляют и союз соцветья заключают, и всю ночь молочную все длится на вокзале, задымленном зарей, под пальмами хрустальными над белым мелом снега омелы бал.

В шестом часу примерно, на заре уже гудки заводов прозвучали и утро розовело над озер прозрачной гладью, где одни огни сигнальные и лозы звезд в воде двоились,

незаметно озаряя бесшумный шелк непрошенных снегов. И перламутр незамутненный мудр в глубинах голубых. О, на какой вопрос ответ его скрывает рост? О утра предчувствия вещи! Предтечи ответов вечных! Безупречность земли беспечная!..

Снег все летит на лепку и литье, на литургий латынь, на фризы и фронтоны; жилище пастора, аллеи парков; снег падает на пустоши и груды мусора, орудья пахаря, творений пафос — снег невесомей кориандра зерен, снежок нежнее молока в апреле... Наносит снег с востока на ступени, уступы стен старинных цитаделей; на силосные башни и на папши; на ранчо скотоводов и на первый камень города; на пепелища на полях бывших сражений;

на земли мертвые после дождей кислотных, морозами отбеленные, и на высотные сосны корабельные, орлами увенчанные подобно знаменам трофейным... Что означает то, что нежно ночь щекой прижалась к топору первопроходца? Кто знает, что охотник поведать хочет?.. Снег падает вне веры и времен на заросли колочей ежевики, на пары зверьков пушистых. Супруга мира, жизнь моя! И лишь порою там, где тишина хранит сон лиственниц, приподнимает грусть служанки маску.

III

Ужель морей тех было не довольно, ужель земель тех было не довольно, где колеи тянулись наших лет и таяли, как снег; и новый берег нам не для того ль дарован, тот берег, где мы тянем невод наших дорог, а он тяжел, как небо, не для того ли, чтобы в хоре снега исчез наш след?.. И на большой дороге самой просторной части света вы раскатаете ли годы словно свиток, расстелите ли смысл десятилетий, снега, разлуки сеятели, снега, что в женском сердце поземкою заносят ожиданье?

И та, кого я вспоминаю прежде всего людского рода, к своему Богу поднимает вежды из глуби прожитого, и на

челе ее сияет нежность. Ее благословенье мне принадлежит по праву рождения. «Оставьте нас вдвоем вести беседу без слов, привычных вашей яви, от сердца к сердцу, о вы, само долготерпенье, о вы, само смиренье! И словно Ave, как чистейшее моление звучит над нами песнопенье рода и поколенья. И долго, словно боль, во мне не утихает нежность...

«Высокородной дамой ваша душа стояла немо и надменно в тени крестообразной, но тело женское, плоть бедная, согбенная под гнетом лет, страдала с каждой из женщин... В сердце полоненной страны прекрасной, чей однажды мы сожжем венец терновый, как жаль всех женщин и — лет юных, и лет преклонных, что ждут мужей напрасно в доме опустелом. Кто вас проводит дорогой вдовьей в часовни ваших подземелий, где лампы тусклы и пчела священна?

«...И все эти годы моего молчанья на чужбине я часто видел, как печально в белом шиповнике иль в розах чайных ваши глаза усталые смежались. Лишь вы одна имели жалость к той немоте, что на сердце мужчины лежит как черный камень... Ведь наши годы — земли ленные, которыми владеть никто не вправе, и словно Ave, как чистейшее моление, за нами следом мчит песнопенье рода и поколенья, и долго, словно боль, во мне не утихает нежность...

«Валил ли снег сегодня ночью, мело ли на том конце земли, где мы, молясь, ладони соединяли?.. А здесь на улицах грохочут цепи и люди бегут вдогонку за своей тенью. Мы и не знали, что столько цепей на свете, чтобы обути колеса, спешащие по утренней пороше дню навстречу. А этот стук лопат у нашего порога, о стражи недреманные! И негры с метлами бредут по снегу вдоль сугробов, как сборщики налогов на соль. И только лампа

выживает, источенная раком ночи. И птица, что из розового пепла все лето воскресала снова и снова, как птица Фаза из Часослова тысячного года... Супруга мира, жизнь моя, супруга мира, грусть моя! Пусть веселит нас крепкий ветер, упругий, лживый! Печаль людей таится в душах людских, но также сила, безымянная, но также благо сиюминутное, улыбки ждущее...»

IV

Один я подвожу итог, на высоте мансарды, что омывает Океан снегов. Минут случайный гость, лицом к лицу с при-
саяжными сугробов я отвязу ль свою кровать, словно пирогу от причала?.. Как те, кто разбивает лагерь каждый день все дальше от родимого порога, кто каждый день уводит свой корабль к другому берегу, кто постигает бытия сокрытые начала; им внятен ход вещей, и, поднимаясь вверх по теченью рек к истокам в зеленых сполохах, им выпадает быть застигнутым врасплох жестоким сверканьем молнии, пред коим никнет любой язык в безмолвии.

Так ходок полунагой средь Океана снегов вдруг останавливает маятник веков и устремляется в погоню за сутью, что превыше слов... Супруга мира, жизнь моя! супруга мира, мысль моя! И выходя под утро из глуби вод первозданных, как путник в ночь новолунья, чьи движенья странны, а поступки непредсказуемы, я отправляюсь бродить в древнейших недрах речи, в канувших в неги пластах фонетики; я доберусь до языков самых богатых, из всех звучавших на земле когда-то, и до самых скарденных из наречий,

как те из дравидийских языков, что не имеют двух различных слов для «завтра» и «намедни». Идите к нам, последуйте за нами, отринувшими слов тугие путы, мы восходим медленно к чистейшей радости добуквенной, к античной длинной фразе. Мы пробираемся средь залежей элизий и средь свалок утраченных приставок, мы пролагаем путь для небывалых речений, недоступных для лингвистов, там, где само дыханье, что привыкло быть безгласным, поверх всех гласных, и губных, зубных согласных стремится к чистой музыкальной ноте, к ясной коде.

...И это было на восходе, незадолго до наступленья утра; под сенью слов чистейших было нам даровано судьбы убежище, обитель предвестий мудрых, разума во славе; и словно Ave, словно моленье за нами вьется хоровод метельный, за нами стелется снежный розарий... О свежесть зонтичных и сложноцветных, о холод зерен в стручках бобовых! о сухость горбушки на зубах путника!.. Какая Флора грехи нам отпустит, благословит нас в краю свободном цветущей ветвью? Что за челнок из кости в руках женщин скорбных соткет свежий холст, что пойдет на корпию для ран и ожогов живущих,

какая иголка в миндальных пальцах женщин юных подрубит рубища для живущих?.. Супруга мира, боль моя, супруга мира, скорбь моя!.. И хлещут сны нас бузины холодной ветвью! И нас повеселит еще, о мир, твой крепкий, лживый, упругий ветер!.. Там, где реки покуда еще подо льдом не встали, там, где снега покуда все не застлали, сегодня вечером мы переправимся на другой берег души бездонной... На ту сторону, где белеют, расстеленны, полотнища сновидений, где простираются владения преходящие, где человек свою судьбу обрящет...



И далее — страница, куда ничто не будет вписано.

П О Э М А
Ч У Ж Е С Т Р А Н К Е

«Alien Registration Act»

Перевод Натальи Стрижевской



à Saint-John Perse
Grisons 14.12.57
Robert Petit-Lorrain

I

Ни пашни, ни пески не привлекут шаги веков грядущих,
что нам улицы мостили булыжником забвения — о камень
неподкупный, зеленый, зеленее древней крови Кастилии,
стучащей вам в виски, текущей в ваших венах, Чужестранка!

Погожей вечностью и сущью закладывает уши тишине;
дубовая избушка, на якоре покачиваясь в бездне, как плод
вынашивает яблоко зеленой лампы,
вот-вот проклюнутся птенцы страдания.

Но старые трамваи, что однажды в сумерках появятся
на повороте улицы, покаты дальше по рельсам сквозь
страну Атлантов, по колеям и автотрассам,
по куполам обсерваторий, опутанным саргассами,

и сквозь бурливые кварталы, и по аллеям зоопарков,
где балаганы циркачей и акробатов, сквозь черные и желтые
кварталы, там, где притоны и мальков затоны, сквозь
солнечные площади парадов, что круглы, как атоллы
(там, где когда-то стояла кавалерия федератов, о армия
морских коньков многоголовая!),

вызывая песню прошлого, вызывая песню пришлую,
песнь горя первенца, песнь скорби птенчика, песнь леса
смешанного и на два такта песнь пересмешника, в столице
летнего цикад нашествия... И эти рельсы у вашей двери
сияют странно, в залог оставленные Чужестранке,

ах, эти рельсы — откуда тянутся — ах, эти рельсы
еще не молвили своего слова последнего.



«Улица Жи-лэ-Кёр... Улица Вечная Скорь...» —
напевает Изгнанница, сидя под лампой, и ее выговор выдает
Чужестранку.

II

«...Не слезы, вовсе нет, — ужели вы поверили? — но
резь в глазах от блеска сотен лезвий, от жара клинков,
калимых во всех горнах мира
(о сабля Строгова перед глазами!)

«Да, может быть, еще заноза, терновый свежий шип зеле-
ный, вонзившийся под кожу, вошедший в сердце женщин моей
расы; а также горечь сигар, которыми, я знаю, слишком долго
дымлю я до рассвета в доме вдовьем перед толпою
ламп многоголовой,
под громоподобный шум вод и ветра, что наполняет ночи в
Новом Свете.

«...А вы, что воспевали — ведь это ваша песня — вы, что воспели все изгнание и все изгойство, вы воспоете ли мои печали и мое горе? сложите нынче вечером песнь моей скорби в лад, песнь колыбельную для моих ламп, песнь ожидания и утешения, песнь черных зорь на чашечках алтея?»

«Насилья на земле мы видели довольно... О Франции мужи, верните мне при жизни тот небосвод, где кружатся стрижи, тот купол синий, где песнь малиновок и колокольни урсулинок, и где над золотой соломой яслей и над прахом королей версальских

от дома к дому звенит смех прачек по немощным улочкам невзрачным...

«...Не говорите мне о малом птенце, что свищет у меня на крыше, о птахе в алом одеянье кардинала. Не говорите мне, не надо, о белке на веранде — вы ее видели, — ни о мальчишках разносчиках газет-журналов, ни о молочниках, ни о монашках из Армии Спасения. Не говорите мне о том, что в поднебесье чета орлов вторые сутки круги рисует, чарует город своей повадкой гордой.

«Ужель все это правда, ужель все это явь без смысла и без связи, без цели и порядка?.. История, где все неясно и невнятно, что на моей ладони невесомой, чем ключ Европы в кровавых пятнах?.. (И что с того, что на моем пороге свои псалмы поет, как еретичка

зелено-бронзовая птица, ее здесь называют Starling?)»



«Улица Жи-лэ-Кёр... Улица Вечная Скорбь» — колокола изгнания вызывают негромко, и в их голосах различим чужеземный говор.

III

Боги близкие, боги кровавые, лики строгие, иконописные! Во влажных теплицах полуденных ламп тьмой наливается бездна. Прилив поднимается к сомкнутым ставням, и лето на ущербе якоря выбирает,

отплывает к розам равноденствия, подобным апсидам витражным.

Уже третий год сок тутовых ягод пятнает плиты возле порога, так сердцевины алтея темнеют, следы на груди дочерей Элоа, так пятна старых вин лиловеют. И третий год возле вашей двери, закрытой на все засовы,

как из гнезда Сивиллова, бездна выводит свой рой светлячковый.

Летом зеленым, как гладь газона, кричаще изумрудно-зеленым, что за заря хмельно, исступленно в третий раз расправляет крылья, как саранча? И вот уж скоро высокопарные сентябрьские ветры будут держать совет у врат города и в саванне летного поля, а после с потоками вод свободных

город исторгнет обратно в реку весь сбор мертвых цикад этого лета.

...И вечно тут этот звон хрустальный, это у двери топтанье, это великих вод бормотанье. И лишь порой днем воскресным по трубам в дома проникнет, поднимаясь из атлантических впадин, дыхание того света, сырость вечности, запах небытия и бездны, земной плесени...

Поэма Чужестранке! Поэма эмигрантке!.. Одетой в креп и травы амарантовые среди высоких сундуков раскрытых. С душой великой, кричащей криком... Европа истекает кровью, как сердце Богородицы перед корридой. Ваши сабо червонные стоят за стеклами в витринах.

и рядом семь золотых мечей с насечкой Тоски, Прекрасной Даме посвященных.

А ныне конницы стоят в часовнях предков, дыханием колеблют узоры бронзовую вязь, созвездия решеток врат алтарных. И копыта Бреды стучат о плиты возле тяжелых дверей фамильных. Но столько сгнуло сердец высокородных, что счастье смотрится фальшиво над вашим приторно сияющим заливом,

как золотая пальмовая ветвь на дне пустого ящика сигарного.

Боги близкие, боги будничные, какие железные розы вы нам завтра скуете? Летит пересмешник за нами следом, и не нова легенда о том, что пыль Старого Света на столетья ложится алой пыльце подобно... Под барабанную дробь, под светом полуденных ламп нам еще столько повязывать траурных лент, твердя песню прошлую, твердя песню пришлую, песнь горя птенчика, песнь скорби первенца

и жизни великолепие, что осеняет людские потери нынешним летом.

Но в этот вечер долготерпенья и долголетия, что выпал мне в этом лете, тягучем, как одурь опиата, как сок столетника, чтоб выпустить из мрака толпы ламп, пойду я в кварталы общества слепых мимо сухих фонтанов в саванах, лужаек в гробах оград и итальянских садов,

откуда в ужасе однажды бежит садовник, почуяв запах тления и склепа,

я ухожу, о память! вольным шагом человека свободного, без роду-племени под песнь песков, и мой открытый лоб венчает пчела сияющая, я ухожу, под низким небом серо-стальным зеленоватым, как дно морское, ищу-свищу по белу свету я свой народ Сивилл, народ сорвиголов, и во сне я глажу мою собаку белую,

ту, что была скорей, чем я, поэтом.

•

«Улица Жи-лѣ-Кѣр... Улица Великая Скорбь...» — поет
ангел Товии, и его выговор ясно выдает Чужестранца.

1942

ВЕТРЫ

Фрагменты поэмы

Атланте и Аллену П.

Перевод Мориса Ваксмахера

VENTS

dans les quinconces du savoir
fait-il penser à la Place des ~~Quin~~
Quinconces de Bordeaux, c'est-à-dire
à un lieu planté d'arbres? ou est-ce
la quincunx qui est l'essentiel dans
l'image? le mot allemand pour quincunx
n'est ni très usité ni très beau

= disposition géométrique, à l'origine,
de champs de perfectionnisme dus à l'usage
de l'écriture et à la connaissance postérieure.

(Si le mot: "Quincunx" = quincunx
de forme trapèze ou allongée, il faudrait
chercher les équivalents en son français,
mais éviter autant que possible des
trous comme "détale" ou "laquintille",
qui évoquent le Contreain d'un programme
géométrique rigoureux et sans équilibre,
d'une perspective fatale.

I

1

Это были большие могучие ветры над всеми ликами
нашего мира,

Большие могучие ветры над миром, с ликующим гулом
гулявшие вольно,

Не зная преград и не ведая меры, и нас, попутных людей,
оставляя

На обочинах узких попутного года... Да, гуляли большие
могучие ветры над всеми ликами всех живущих!

Порфиру обнюхивая и власяницу, слоновую кость и обло-
мок кувшина, исследуя мир вещей и предметов,

Исправно неся свою службу, летели над самыми звонкими
строфами гимнов, что мы слагали во славу атлетов, что мы
слагали во славу поэтов, —

Это были большие могучие ветры в погоне за всеми приметамы мира,

За всеми приметамы, всеми предметамы, недолговечнымы и быстротечнымы, во всем этом хрупком мире вещей...

Открывались ветрам равнодушье и сухость, что выют себе гнезда в человеческом сердце, —

Не оттого ли истлевшей соломой тянуло над нашими городами,

Над городами, над площадями, и в ужасе вздыбливались мостовые? И тошнота подступала к горлу —

К мертвым Устьям земных кладовых. И Бог отвращался от свершений людских.

Ибо весь этот век изнывал и томился в удушающей сухости ломкой соломы, в странных сучках и колючках странных, в засохших стручках и дрожащих ветках,

Точно большое плечистое дерево в лохмотьях и в срубе зимы минувшей, в жалкой ливрее почившего года;

Точно большое плечистое дерево, что дрожит на ветру под скрип своих сучьев, заляпанных комьями высохшей грязи,

Точно большое нищее дерево — оно растрянжирило свое богатство и стоит на ветру с лицом, опаленным жаром любви и неистовством страсти, страсти, что песню свою не спела.

«О страсть, ты еще споешь свою песню...» И страница моя наполняется гулом,

Как это большое волшебное дерево, что под отрепьями нищеты своей зимней сохраняет свою первородную гордость, гордится роскошеством своих фетишей, фетишей своих и своих талисманов,

И качает в ветвях скорлупки пустые — саранчи прошлогодней оболочки сухие, и завещает небесному ветру рои грядущих сыновних крыльев, молодую листву высокого слова, —

Ах, языка могучее дерево, населенное сонмами смутных пророчеств, гулом загадочных бормотаний, — так бормочет растерянно слепорожденный, попавший в лесопосадки знания...

2

«О вы, кому буря приносит прохладу... Прохладу и долгожданную свежесть...» На валы крепостные восходит Сказитель. И об руку с ним поднимается Ветер. Сказитель в массивных браслетах железных своим облачением подобен Шаману —

Для окропления новою кровью одет он в тяжелую синюю тогу, отороченную темно-красной тесьмою, и накинул накидку, складки которой до кончиков пальцев у него ниспадают.

Рис мертвецов послужил ему пищей, он унаследовал их плащаницы. Но он свое слово к живым обращает, в бассейны грядущего опускает ладони.

Его слово — как плеск воды родниковой. В его слове Прохлады отрадная свежесть... «О вы, кому буря приносит прохладу...»

(Неужто одним неловким движеньем кто-то прервет струение песни?) Скорей же, скорей! Поспешайте услышать! Это к нам жизнь обращает слово.

На валы крепостные восходит Сказитель, и руин холодок его овевает. И лик у него любовью отмечен, как на первинах вина молодого... «Осталось времени у вас немного, чтобы в это мгновенье успеть родиться!»

В давнюю пору намеренья Бога во вскрытой печени орла отражались и в горне кузнечном, в раскаленном железе; на заре человечества бессчетные боги со всех сторон людей осаждали.

Гаданье по внутренностям, по дуновению ветра! По влаге небес, по речному теченью...

Такой ритуал благотворным считался. И я его тоже использую вскоре. Покровительство неба моей поэме! Пусть эта милость меня не минует!

«Фавориты благих сновидений» — фразой такую праотцы наши мудрецам выражали свое уваженье. Поэт и поныне для предсказания зачастую к поэме своей прибегает:

Проникнуты строфы пророческим духом, в них слышится то, что мы ощущаем

С приближением вечера, с приближеньем вечерних обрядов магических, когда черный конь приносится в жертву богам. — «Вещать убежденно и страстно, Слушающий говорит».

III

.....

4

...Но дело о человеке идет! Так когда же о нем, о самом человеке, во всеуслышанье сказано будет? — Кто голос высит в его защиту?

Ибо дело о человеке идет, о его теперешней сути! И обо всем, что таится во внутреннем море его души.

Так скорей же, скорей! В его защиту представьте свидетельство!



И вот из тысячелетних палат выходит к людям Поэт,
С ним оса, охотница ярая, и тайный Жилец его сновидений,
И целая свита приспешников, и целая свита прислужников:
Землекоп, Звездочет, Солевар, Дровосек,

И Финансист, и Башмачник, и разные Звери, заразившиеся чумой,

И Ласточка со своими птенцами, и Хозяин полей, и влюбившийся Лев, и Обезьяна (в руках у нее волшебный фонарь).

...И с ним все люди терпения, и с ним все люди улыбки,
И больших океанских глубин скотоводы, и водоносных подземных пластов мореходы,

И брошюровщики пестрых картинок в пещерах, и ваятели вульв на могилах и в склепах,

И рудознатцы — разведчики угля и соли, и те, кто во мгле кочегарок и трюмов наяривает на гармони.

И предводители провидческих бдений, и учредители завтрашних партий, и келейные составители революционных хартий,

И неожиданные вдохновители юных умов, подстрекатели к сочинению невиданных текстов, и даже подготовители почвы для произрастания прельстительнейших миражей.

...И с ним все люди терпенья и нежности, и с ним все люди сердечной улыбки на долгих дорогах печали,

Татуировщики живущих в изгнании Государынь, и те, кто в сырые подвалы богатых гостиниц умирающим обезьянкам приносит гостинец,

И рентгенолог — он в шлеме свинцовом дожидается мрачно перед нарядным альковом для новобрачных,

И ныряльщики, губок ловцы, что, глубины зеленые преодолев, у самого дна неожиданно вздрагивают от прикосновения мраморных дев,

И рассказчики страшных историй в чаще лесной перед публикой, состоящей из крепких боровиков и лисичек отменных, и виртуозы, чья забава любимая — высвистывать блюзы на секретных заводах военных,

И, в сапогах из шкурок бобровых, кладовщики занесенного снегом поселка, хранители ламп для зимовок и любители в пору полярного лета почитать среди ночи при солнечном свете газету.

...И с ним все люди душевной нежности, и с ним все люди большого терпения на стройплощадках иллюзии и заблуждения,

Инженеры-баллистики, и присяжные фокусники, мастера пустых разговоров, играющие в свои нечистые игры под куполами соборов,

А также и те, кто за беломраморными столами манипулирует лихо жетонами и рычагами, и контролеры качества взрывателей и порохов, и все те, кто регулярно вносит поправки в уставы авиационных компаний,

И Математики в поисках выхода из своих ледяных лабиринтов, и Алгебраисты в постоянном плену каких-то запретов, препон и рогаток; и поборники справедливости земной и небесной, и оптики в темных подвалах, и философы — полировщики стекол,

Все люди бездны и больших просторов, и слепые за пультами больших органов, и лоцманы больших и опасных маршрутов, и большие, усеянные шипами Аскеты в своей искрящейся скорлупе,

И ночной Созерцатель, висящий на проводе телефонном, как висит на своей паутине полосатый паук.

...И целая свита приспешников, и целая свита прислужников, и целая стая быстролетных упряжек, режущих ветер в воинственном раже, — о улыбка, о кротость!

Это на трапе появился Поэт, на трапе наружном нашего Века!

— Привет вам, привет на дороге людей! И ветер упругий в округе на тысячу миль к земле молодую траву пригибает.



Ибо дело о человеке идет, о воссоздании всех его связей с окружающим миром.

Возвысит ли кто-либо голос? И свидетелем выступит в его защиту?.. Кто же будет свидетелем в пользу его, человека?..

Пусть слово Поэта услышано будет повсюду, и пускай он ведет заседание суда!

.....

IV

.....

6

...Это были большие могучие ветры над землею людей — большие могучие ветры, свершавшие в нашей душе большую работу:

Они пели нам песню об ужасе жизни, они пели нам песню о радости жизни, ах, пели нам песню, пели нам песню на высочайших вершинах смертельного риска,

И под рыдания флейты несчастья они нас, новых людей, приводили к новому образу жизни и мысли.

Это были большие могучие силы, летевшие над дорогой людей, — большие могучие силы со своей нелегкой работой:

Среди людей, привыкших к рутине, к неизменному

чередованью сезонов, они отучали нас от рутины, от заплесневелых обычаев старых,

И на бесплодном камне несчастья воссоздавали мы тучную землю, новую землю для новых свадеб.

И тем же движением крутых исполинских зыбей, каким нас в объятья свои вечерами холмистая зыбь земли принимала, — принимала зыбь открытого моря,

И поднимала нас, новых людей, до высочайших вершин мгновения, — она швырнула нас вечером на неведомый берег и, отхлынув, оставила нас,

А с нами и землю, и зелень листвы, и отточенный меч — и мир, где роятся новые пчелы...

И тем же движением, с каким бесстрашный пловец, который стремился попасть в зазеркалье заплыва и вырваться к новому горизонту, вдруг под ногой у себя ощущает гряду неподвижных песков,

Но движенье еще в нем живет и толкает вперед, хотя движенье само уже только память, только эхо былой высоты, угасающее в сокровенных спиралях надежды,

И под жестким панцирем тела порывы смятенной души еще долго ему не дают отдышаться, — человек погружен еще в память о ветре, человек оглушен еще ветром, точно крепчайшим вином.

Так человек, отхлебнувший из глиняной кружки, долго еще ощущает губами свою неразрывную связь с этой кружкой,

Нарыванье души ощущает, похожее на приближенье ненастья,

Языком ощущает ноздреватый и пористый привкус души, точно он глиняную монету лизнул...

О вы, кому буря долгожданную свежесть приносит, живая сила и новая мысль освежает ваше ложе живых, исполненных жизни людей, и отвратительный запах несчастья не осквернит белья ваших жен.

Ваши лица опять обратятся к богам, снова на ваши деяния лягут горячие отсветы пламени, гудящего в горне кузнечном, и услышите вы — вы и идущий к вам Год — приветственный возглас новых форм и новых существ, что рождаются на обломках бесчисленных раковин и на крошеве ветхих надкрылий прошлогодних майских жуков.

И вы можете бросить в огонь большие мечи цвета печени в масле. Мы лемеха из них выкуем, лемеха для плугов, мы землю познаем, когда она открывается навстречу любви, зыбучую землю в неспешном ее колыхании под бременем сладким любви, в ее движенье, текучем и медлительно-вязком, словно смола.

Нежность, пой свою песню в последнем трепете вечера, когда затихающий бриз навевает дремоту на умиротворенное стадо.

И вот в этот вечер наступает конец большому могучему ветру. Веером ветра ночь обмахнулась на вершинах других. И земля в далеких таинственных далях нам рассказывает о своих заветных морях.

И боги, напиток испив, забредут ли когда-нибудь снова на землю людей? И будут ли наши извечные темы о рождестве всех наших богов по-прежнему обсуждаться в ученых собраниях?

О, не раз еще Провозвестники придут на землю к ее дочерям, и не раз еще девы земли зачнут от них дочерей для улады поэта.

И не раз еще наши поэмы пойдут по дороге людей, неся семена и плоды новым людским поколениям, —

Новую расу творя среди людей моей расы, новую расу творя среди дочерей моей расы и неся мой голос живой над дорогой людей от сердца к сердцу, все дальше и дальше,

До берегов далеких и мгlistых, где скрывается смерть!..

7

Когда исполинская буйная сила расчистила русло людей
на земле,

В дереве старом с сухими ветвями ожило вновь молодое
струенье пророчеств,

А из подземных неведомых Индий уже поднималось другое,
новое дерево возвышенной стати —

Со своею листвою магнетической и с душистым грузом новых
плодов.

С Т В О Р Ы

Ф р а г м е н т ы п о э м ы

Перевод Мориса Ваксмахера

Midi, ses fauves, ses famines ...

Midi, ses fauves, ses famines, et l'An de mer à son plus haut
sur la Table des Lours ...

— Quelles filles noires et sanglantes vont sur les sables violents
longeant l'effacement des choses ?

Midi, son peuple, ses lois fortes ... l'oiseau plus vaste que son aile
voit l'homme libre de son ombre, à la limite de son bien.

Mais notre front n'est point sans or. Et victorieuses menes de la
nuit sont nos montures écaillées.

Ainsi les Cavaliers en armes, à bout de Continent, font au bord
des falaises le Tour des péninsules.

— Midi, ses forges, son grand ordre ... Les promontoires aigüés
s'ouvrent au loin l'écume bleuissante.

Les temples brillent de tout leur sel. Et dieux s'éveillent dans
le quartz.

Et l'homme de vigie, là haut, parmi ses ares, les creais fauves,
sonne midi le rouge dans sa corne de fer.

В О З Г Л А Ш Е Н И Е

И вы, о Моря...

1

И вы, о Моря, прочитавшие самые дерзкие сны, неужто однажды в какой-нибудь вечер вы нас оставите на рострах Города, у казенного камня, возле бронзовой вязи узорчатых лоз?

Он шире, чем ты, о толпа, этот круг внимающих нам на крутом берегу беззакатного века — Море, огромное Море, зеленое, словно заря на восходе людей,

Море в праздничном благодушии, Море, что на ступенях своих возвышается одой, изваянной в камне, Море, канун предстоящего праздника и сам этот праздник на всех рубежах, рокот и праздник вровень с людьми — Море, само как бессонное бденье кануна, как народу явленный знак...

Погребальные запахи розы ограду гробницы не будут уже осаждать; час живой свою странную душу уже больше не скроет меж пальмовых листьев... И была ли когда-либо горечь у нас, у живых, на губах?

Я видел, как дальним на рейде огням улыбалась громада стихии, вкушающей отдых, — Море праздничной радости наших видений, точно Пасха в зелени трав, точно праздник, который мы празднуем,

Море все целиком от границ до границ в ликовании праздничном под соколиными стаями белых своих облаков — как родовое поместье, освобожденное от налогов, или уголья владыки духовного, или в некошеном буйстве лугов обширнейший край, проигранный в кости...

Ороси же, о бриз, рождение мое! И моя благосклонность направится к амфитеатру огромных зрачков!.. Дротики Полдня дрожат в нетерпении перед воротами наслаждения. Барабаны небытия отступают перед флейтами света. И со всех сторон Океан, увядшие розы топча,

Над белизною террас меловых возносит свой царственный профиль Тетрарха!

2

«...Я заставлю вас плакать — ведь преисполнены мы благодарности.

От благодарности плакать, не от страдания, — говорит Певец прекраснейшей песни, —

И от смятения чистого в сердце, чей источник мне неизвестен,
Как от мгновения чистого в море перед рождением бриза...»

Так вещал человек моря в своих речах человека моря.

Так славил он море, славя любовь нашу к морю, и наше желание моря,

И со всех сторон горизонта струение к морю источников наслаждения...

«Я вам поведаю древнюю повесть, древнюю повесть услышите
вы,
Я вам поведаю древнюю повесть слогом простым, подобающим
ей,
Слогом простым, изящным и строгим, и повесть моя возрадует
вас.

Пусть эта повесть, которую люди в неведение смерти желают
услышать,
Повесть, идущая во всей своей свежести к сердцу беспамятных,
Пусть милостью новой нам она явится, ласковым бризом
с вечернего моря в мягком мерцанье прибрежных огней.

И среди вас, кто сидит под раскидистым древом печали и меня
слушает,
Мало окажется тех, кто не встанет и не шагнет вслед за нами
с улыбкою
В папоротники ушедшего детства и в дальний гул колесницы
смерти».

3

Поэзия, чтобы сопровождать движение речитатива в честь Моря.

Поэзия, чтобы сопутствовать песне в ее торжественном шествии по окружности Моря.

Как начало движения вокруг алтаря и как тяготение хора к струящимся токам строфы.

И это великая песня морская, как никогда ее раньше не пели, и Море, живущее в нас, само будет петь эту песню —

Море, которое носим в себе, будет петь, насколько нам хватит дыхания и вплоть до финальных аккордов дыхания, —

Море, живущее в нас, будет петь, разнося по вселенной шум шелковистый своих просторов и дар своей свежести.

Поэзия, чтобы смирять волнение бдений кругосветного плаванья в море. Поэзия, чтобы мы прожили дни этих бдений в наслаждении морем.

И это сны, порожденные морем, как никому они прежде не снились, и Море, живущее в нас, само будет плыть в сновидениях этих —

Море, которое соткано в нас, будет в них плыть до колючих зарослей бездны, Море будет в нас ткать свои часы великие света, свои пути великие мрака —

Море, разгул бесшабашности, радость рождения, ропот раскаянья, Море! Море! в своем приливе морском,

В клокотании пузырей, во врожденной мудрости своего молока, о! в священном клёкоте гласных своих — святые девы! святые девы! —

Море — кипенье и пена, как Сивилла в цветах на железном сиденье своем...

4

О Море, так восхваленное нами, да пребудете вы, обиды не ведая, всегда препоясаны восхваленьями.

Так приглашенное нами, гостем почетным да будете вы, о чьих заслугах подобает молчать.

И не о море пойдет у нас речь, но о господстве его в человеческом сердце —

Так в обращении к Князю мы проложим слоновою костью или нефритом

Лик сюзерена и слово придворной хвалы.

Чествуя вас и перед вами в низком поклоне склоняясь без низости,

Я сполна вам отдам благоговенье свое перед вами и качание тела,

И дым удовольствия слегка затуманит рассудок поклонника
вашего,

И радость его оттого, что нашел он удачное слово, его одарит
Благодатью улыбки.

И мы почтим вас, о Море, таким приветствием славным, что
оно еще долго в памяти вашей пребудет, словно каникулы
сердца.

5

...А ведь втайне давно я мечтал об этой поэме, понемногу в свои повседневные речи добавляя мозаику пеструю, ослепительный блеск открытого моря, — так на опушке лесной среди черного лака листвы промелькнет драгоценная жила лазури, так в ячейх трепещущей сети чешуею живую сверкнет огромная рыба, пойманная за жабры!

И кто меня смог бы врасплох захватить, меня и мои потаенные речи под надежной охраной учтивой улыбки? Но в кругу людей моей крови с языка у меня срывались порою счастливые эти находки — может быть, на углу Городского Сада, или у золоченых ажурных решеток Государственной Канцелярии, или, быть может, кто-то приметил, как среди

самых будничных фраз я повернулся внезапно и вдаль поглядел, туда, где какая-то птица выводила рулады над Управлением Порта.

Ибо втайне давно я мечтал об этой поэме и улыбался счастливо, потому что ей верность хранил, — ею захваченный, одурманенный, оглушенный, точно коралловым млеко, и послушный ее приливу — как в полночных блужданиях сна, как в медлительном нарастании высоких вод сновидения, когда пульсация дальних просторов с осторожностью трогает канаты и тросы.

И вообще как приходит нам в голову затевать такую поэму — вот о чем стоило бы поразмыслить. Но сочиненье поэмы доставляет мне радость, разве этого мало? И все же, о боги! мне бы следовало остеречься, пока еще дело не зашло далеко... Ты взгляни-ка, дитя, как на улице, у поворота, прелестные Дочки Галлея, эти гости небесные в одеяньи Весталок, которых ночь заманила своим стеклянным манком, умеют вмиг спохватиться и взять себя в руки на закруглении эллипса.

Морганатическая Супруга где-то вдали и сокрытый от мира союз! О Море, песня венчальная ваша песней такую станет для вас: «Моя последняя песня! моя последняя песня!.. и человек моря для меня эту песню споет...» И я спрошу: кто, как не песня, будет свидетелем в пользу Моря — Моря без портиков и без стел, без Алисканов и без Пропилей, Моря без каменных гордых сановников на круглых террасах и без крылатых зверей над дорогами?

Я возложил на себя написание поэмы, и я высоко буду чтить свое обязательство. Как тот, кто, узнав о начале великого дела, предпринимаемого по обету, берется текст написать и толкование текста, и об этом его Ассамблея Дарителей

просит, ибо сей труд — призванье его. И не знает никто, где и когда принимается он за работу; вам скажут, что это было в квартале, где живут живоде́ры, а быть может, в квартале литейщиков — в час народного бунта — между колоколами, призывающими к тушенью огней, и барабанами гарнизонной побудки...

И наутро нарядное новое Море ему улыбнется над крутизною карнизов. И в страницу его, точно в зеркало, посмотрится

Незнакомка... Ибо втайне давно он мечтал об этой поэме, в ней видя свое призвание... И однажды вечером великая нежность затопит его, и решится он на признание, и ощутит в себе нетерпение. И улыбнется светло, и сделает предложение... «Моя последняя песня! моя последняя песня!.. и человек моря для меня эту песню сплет...»

6

И Море — это оно к нам восходит по ступеням каменным драмы —

Поднимается с сонмищем Принцев своих, своих Регентов и Гонцов в роскошных одеждах и железных доспехах, и своих великих Актеров с выколотыми глазами, и своих посаженных на цепь Пророков, и своих Чародеек, стучащих подошвами деревянных сандалий и с черными сгустками крови во рту, и Девственниц, взятых волною как дань и по пашне тропинками гимна идущих,

И своих Пастухов, и Пиратов своих, и Кормилиц детей королевских, и Кочевников, одряхлевших в изгнании, и своих элегически томных Принцесс, и Вдов знаменитых, что безмолвно скорбят, придавлены прахом своих великих

супругов, и своих Узурпаторов тронов, и своих Основателей дальних колоний, и Корыстолюбцев своих, и Купцов, и оборотистых ловких Дельцов, получивших концессии на добычу заморского олова, и прославленных Мудрецов, которые смело пускаются в путь, взгромоздившись на буйволов, понуро бредущих плантацией риса,

Море со всем своим поголовьем людей и чудовищ, о! со всем приплодом своим неувядающих басен, зачиная в нашествиях гулких, в могучем напоре рабов и илотов — зачиная великих, богоподобных Бастардов своих и славных своих дочерей, очаровательных Кобылиц, — торопливые толпы, что поднимаются к верхним пролетам Истории и в первом трепете вечера, напоенного йодистым запахом водорослей, устремляются на арену —

С неумолкающим рокотом устремляются к Автору и к его наведенным на маску устам.



Так Море является к нам в своем мафусаиловом возрасте и в своей доисторической складчатости — приходит единым пластом, со своим возмущеньем морским, со своим характером цельным!

И как некий народ, чей язык для нас нов и невнятен, и как некий язык, чьи фразы для нас новы и невнятны, Море пишет на медных скрижалях свои высочайшие заповеди —

Излагая их взрывами мрачного гнева и гигантскими вспышками яростной речи, и поразительной яркостью образов, и крутобокими грядами светлых теней, и в сверкании молний и чешуи, подобном сиянью мечей и щитов в былых героических сечах, достигая высот своего благородного и соразмерного стиля, —

Море в своем постоянном движении, в непрерывном скольжении мускулов, этих странников вечных, вязкое Море в скольжении плевры, и, всего себя уменяя в приливе морском, оно набегаёт на нас исполинскими кольцами черных питонов

Колоссальная глыба в своем неуклонном стремлении к вечеру, в грозном своем наступлении на сушу...



И было то на закате, в первом трепете вечера, до отказа набитого пульсацией внутренностей, когда над облитыми золотом храмами и в Колизеях старинной постройки, чьи ограды чугунные продырявил и выщербил солнечный свет, дьявольский дух пробуждается в гнездах сипух, среди внезапного оживления густо разросшихся мхов, к сырým прилепившихся стенам.

И когда мы в надежде, что сбывается то, о чем возвестили нам вещие сны, сбегали с крутого обрыва красной земли, щедро дарами усеянной и рогатым скотом, и когда мы бежали по красной земле жертвоприношений, убранной пряностями и виноградными лозами, как голова барана под намотанными на нее золотыми шнурами и сетками, мы увидали, как вдалеке поднимается другое лицо наших снов, увидали, как священное Море над своим мелководьем встает, одинокое, странное Море, что бессонную вахту несло, на нас обратив беспокойный свой взор Чужеземца, Море, которому не суждено достойную пару себе подобрать, — бродячее Море, что оказалось в ловушке своего заблуждения.

Руки, как петлю, воздевши в подтверждение нашего «Ах...», мы выплеснули из гортаней своих тот крик чело-вечий, за гранью которого уже нет ничего человеческого; мы на челе у себя ощутили этот бесценный и царственный дар — Море все целиком, дымящееся Море наших обетов, точно чан с черной желчью, точно крупнейший бак, полный кишок и других потрохов, на устланных камнем путях приносящего жертву Жреца!

Оно к нам пришло, оно к нам пришло... О! еще повторите, прошу вас, — в самом ли деле так было, как я говорю?.. Оно к нам пришло в великолепии царственном черной желчи и черного, черного тоже! вина — это великое Море, выше нашего лика, вровень с нашей душой, эта вся его содранная заживо шкура, висящая на барабане

неба, как на огромных, заброшенных, в пустыне оставленных глиняных стенах,

Шкура распятого буйвола, висящая на четырех деревянных кольях.

...И с большей еще высоты разве нам потом не открылось еще более высокое Море,

Забвения блеклая гладь, с которой смыты все знаки, камень, избавившийся ради нас от своих царапин и зерен? и не явилось ли нам с большей еще высоты и из далей более дальних еще более высокое, более далекое Море в своей девственной чистоте без загадок и шифров... эта простодушно глядящая в ночь, освещенная мягко стралица, это зеркало без амальгамы?..

О! какое великое дерево света обрело здесь истоки своего молока!.. Мы молоком этим вскормлены не были. Мы не удостоились чести войти в число избранных. И женами нашими были дочери смертных, недолговечные в плоти своей... Мечта, о неземная мечта человека и бессмертного Бога!.. «Ах, пусть Писец ко мне подойдет, и я ему продиктую...»

Какой азиатский Властитель, искушенный в устройстве турниров и празднеств, мог мечтать о таких неоглядных просторах, о таком беспредельном приволье мечтать? И не томило ли нас желание жить в этих сказочных сферах, и не дает ли нам это желанье, о боги! право надеяться на высший разряд?.. Не закрывайтесь, глаза, вы еще не вобрали в себя все величие этих минут — минут справедливости высшей! «Ах, пусть ко мне человек подойдет, и я ему продиктую...»

А Небеса, наливаясь лазурью, в которой купается чайка, из наших мечтаний уже возвращают нас в явь, и над заливами, осажденными Морем, мириадами легких огней плывут приношения наши, то и дело сбиваясь с дороги, — так бывает, когда киноварь брошена в пламя, чтобы ясней проступили виденья.

Ибо ты к нам вернешься, о зримое Море! с дуновением первого вечернего бриза,

Вернешься в первичной своей ипостаси, в плоти своей и в морской своей тяжести, о глина! в цвете камней дольмена и хлева, о море! — среди порожденных морем людей и среди прибрежных краев, поросших каменным дубом, ты, Море силы и пахоты, Море с запахом женского чрева и фосфора в шелканье длинных бичей похищения! Море, что подлежит запрещению в свете прекрасных деяний духа!.. (Когда Варвары недолгое время живут при Дворе, разве союз с дочерьми крепостных не повышает до самых высоких тонов рокот крови, бегущей по жилам?..)

«Веди меня, радость, дорогами моря, где в трепете бриза замирает мгновение, словно птица в одежде своих распахнутых крыл... Я иду, иду дорогою крыльев, где даже печаль — она тоже крыло... Мы прекрасную родину вновь завоюем, прекрасную родину Короля, который с детства не виделся с нею, и залог его силы — в песне моей. Сыграй же, флейтист, сигнал к наступлению, да пребудет с нами любви благосклонность и да вложит она в наши руки сияющий радостью меч!..»

Но кто же такие вы, Мудрецы, чтобы делать нам выговор, о Мудрецы? Если фортуна морская еще в состоянии, вопреки вашей косности, большую поэму вскормить, неужто вы можете доступ мне к ней запретить? Это земля моей Сеньории, и если на то будет воля моя, я в эту землю вступлю, и стыдиться мне нечего... «Ах, пусть Писец ко мне подойдет, и я ему продиктую...» И пусть для смертных в обиду не будет великая радость моя —

Для тех, кто с рожденья превыше учености почитает исконное знание свое.

С Т Р О Ф А

I

*Верхние Города были залиты светом
по всему обращенному к морю фронту...*

1

Верхние Города были залиты светом по всему обращенному к морю фронту, и купались громады каменных зданий в золотящейся соли морского простора.

Портовым Чиновникам выполнять приходилось многие обязанности пограничной службы — и оформление транзитной платы, и отведение места для заправки водою, и установление межевых знаков, и перегон овец на пастбища в горы.

Ожидали Полномочных Послов открытого моря. Быть может, они нам союз предложат!.. И толпа устремлялась к передним эскарпам большого прилива,

К нижним ступеням привычных спусков и даже к острым скалистым верхушкам, чуть ли не вровень с водою торчащим, —

к этим каменным шпагам и шпорам на стратегических схемах защиты от моря.

Коварством какого светила перепутаны были все цифры, а все проверенные веками приметы, точно игральные кости, были брошены кучей вразброд на стол надвигавшихся вод?

В запертых шлюзами водоемах, принадлежащих Жрецам Коммерции, как в прохудившихся чанах алхимика или красильщика сукон,

Бледное небо разжигало нестойкую память о колосющихся нивах земли... И белые птицы марали пометом острые гребни стен крепостных.

2

Пограничная архитектура. Разномастные сооружения портов... Мы к вам обращаемся, срединное Море, и к вам, о Авелева земля! Уплачен оброк, обязательства выполнены. Барщина тучной земли по регламенту жесткому камня!

Достохвальное море зелеными глыбами яшмы сверкало. И непоседа вода омывала подножья безмолвные скал.

«Изыщи, о Поэт, червонное золото для обручального перстня; новый сплав изыщи для колоколов, чтобы, ведомые звоном прозрачным, искусные лоцманы в темноте проводили суда.

Это ветер морской, овевающий порты, это море, конечная цель наших улиц, это ветер и море в пророчествах наших, это всех наших законов начало.

Образец совершенства — женское тело (о, золотое число!),
и для Города, не украшенного слоновою костью, твое жен-
ское имя, Патрицианка!»

Ибо слишком цепляемся мы за арендные договоры, и хватит
уж нам ловить и запутывать время в желтые сети наших
внутренних гаваней...

Содрогаясь, подобно гигантской медузе, море читало вздох
свои золотые молитвы речитативом огромных светящихся
фраз и мучительных всплесков зеленого пламени.

И при виде разверстого зева — входа во внешнюю гавань
— людям памяти мнился крылатый дракон;

Но многоголовый питон с клыкастыми мордами пирса,
увенчанный белым, у врага отбитым пером, мечтал вздох
среди пены —

О других, о заветных забегах мечтал, где дымятся могучие
крупы других скакунов...

3

В других же краях вся эта история развивалась менее ясно. Нижние Города процветали, не имея о море никакого понятия. Они сиднем сидели между пятью своими холмами и любовались железными ланями;

Или, по разнотравью лугов поднимаясь неспешным пастушеским шагом со своими вьючными мулами и повозками мьгарей в горы, заселяли обширные склоны плодородной земли.

А другие к протяженности вод прислонялись устало высокими стенами психиатрических клиник и исправительных тюрем, стенами цвета аниса, укропа и другой травы бедняков.

А третьи, из сил выбиваясь, как матери-одиночки, спускались, с босыми ногами, облепленными чешуей, и с лицом в

лишаях безобразных, спускались на занесенные илом низины нетвердой походкою ассенизаторш.

Порт, где суда стоят на мели, будто нищие на костылях. Вагонетки у края лагун на гудах морских отложений и черного мела.

Нам знакомы эти замызганные тупики, куда упираются бегущие к морю улочки и тропинки, эти ухабы, по которым волоком тянут суда, эти могилы, куда разбитая лестница сыпает гранитное крошево ступеней своих. Мы вас видали не раз, перила железные, и тебя, черта розоватая накипи ржавой на мелководе во время отлива,

Там, где дочери свалок, не стесняясь вокруг гомонящих детей, сбрасывают с себя перепачканное кровью белье.

Здесь общедоступный альков, где подстилкою служат черные сгустки. Здесь неподкупное море отмывает свою вековечную грязь. Здесь собаки воду лакают из насквозь прогнивших камней. Здесь линии каменных швов покрывает налет фиолетовых крохотных водорослей, бархатистый на ощупь, словно шкурка выдры речной...

Немного повыше — площадь, где мостовая напоминает оперение самок колхидских павлинов: тусклое золото и темно-зеленая чернь; большая роза черного камня на-завтра после восстания, и лишенный ограды фонтан — изваяние человека, у которого капает кровь из медного клюва, как у зарезанного петуха.

Хохот вод, ты был слышен даже в домах, далеко отстоявших от моря.

За сверкающим пологом ирисов и проворных серпов открывалась вдали благодатная щедрость равнины; начиненную золотыми масками землю рыли дикие свиньи; старики со своими клюками шли на приступ фруктовых садов, и вечерами над маревом синих, наполненных лаем ложбин рожок деревенского сторожа перекликался порой с протяжным гудением раковин продавцов морского улова... В клетках зеленых, сплетенных из ивовых прутьев, люди держали желтых овсянок.

О, пусть движенье вещей к своим берегам, всех вещей к своим берегам, подобное их переходу в руки новых владельцев,

наконец нас избавит от власти Кудесницы древней — Земли, с ее дикими желудями, и с толстой косою Цирцеи, и с отражением рыжих закатов в зрачках прирученных зверей!

Вожделения час багровел в лавандах морских. Звёзды цвета мяты пустынь одна за другой пробуждались. И пастухов закатное Солнце, прекрасное, как исступленный паломник в развалинах храма, под жужжание пчел опустилось на верфь, у бассейнов, где ремонтируют подводные части судов.

Здесь вместе с литейщиками и корабельными кузнецами пьянствовали чужеземные мореходы, мастера разгадывать ребусы дальних дорог. Здесь к ночи заметно стужался запах женского лона, идущий от моря в пору отлива. И огни сумасшедшего дома атели в железных корзинах своих. Слепец за крабом охотился возле могил. И луна над кварталами смуглых гадалок

Хмелела от скрипучего голоса флейты и воплей пронзительных олова: «Огни наступившего вечера — мученье мужчин! Сотни бессловесных богов на каменных полках каминов. И неизбывное присутствие моря сзади ваших семейных столов, моря с его женским запахом водорослей, не таким унылым и пресным, как пропитание скудное, которым вас кормят жрецы... Сердце мужское твое, о прохожий, займет нынче вечером место среди завсегдаев порта, точно плошка с пламенем рдяным на носу иноземного судна».

Обращение к Знатоку звезд и навигации.

II

От Знатока звезд и навигации

От Знатока звезд и навигации:

«Они меня Темным назвали, но от моря шли речи мои.

Ибо Год, о котором я говорю, — самый великий из великих Годов; ибо Море, которое я вопрошаю, — великое самое Море.

Припадаем почтительно к твоим берегам, одержимость, о верховное Море желания...

Участь земная скудна и убога, но на морях достоянье мое беспредельно, и неисчислимы доходы от заморских владений моих.

Вечер, усеянный яркими блестками,
Нас держит у края огромных таинственных Вод, как перед
входом в свою пещеру Пожирательница мальв,
Та, кого старые Лоцманы, облаченные в белую кожу,
И их паладины в военных доспехах, приближаясь к
черной скале, своими ротондами славной, приветствуют
благоговейно.

Я пойду по вашим стопам, Счетоводы! И по вашим, Мастера
исчисления!

Божества лукавые, ловкие, вы, должно быть, в коварстве
своем хитроумном переплюнули пиратов морских?

Игры биржевой мастаки с неизменным успехом пускаются
В спекуляции за морем, и везде на маршрутах морских
открываются многочисленные фактории...

И всеохватней, чем гелиактический Год за бесчисленные
тысячи Тысячелетий,

Грандиозное море меня окружает. Ужасная бездна — услада
моя, погружение в тень — моя величайшая радость.

И плетется звезда, как бродяга, по вершинам зеленого
Века,

И прерогатива моя, которою я в морях обладаю, мне возмож-
ность дает увидеть для вас эти вещие сны... Они меня Темным
назвали, но я жил в светоносном сверканье лучей».



«Тайна этого мира, будь начеку! Ибо час настает, когда
руль

Передадим мы в руки другие!.. Я увидел, как в небесных
часах бесшумно вращаются, умащенные благовонным елеем,
гроздь огромных монет

И большие сильные руки радушно мне отворяют калитку
моей ненасытной мечты,

И, пронизав меня трепетом, видения эти не испугали меня;
я непринужденно держался и воспринял как должное благо-
склонность судьбы.

Предвкушенье познания! Предчувствие молнии!.. Ароматы
хмельные мне знакомого с детства вина... Но здесь винограда
такого еще никто не давил.

Даже море само — как внезапная буря оаций! Ты, о Море,
посредник, заступник единственный!.. Птичьи крики над
рифами, бриз, деловито спешащий по своим каким-то делам,

И тень паруса, пробежавшая по самой опушке дремоты...

Я говорю, что звезда, оборвав свою привязь, убежала из
хлева Небес. И, как бродяга, плетется по вершинам зеленого
Века... Они меня Темным назвали, но от моря шли речи мои».

«Припадаю с почтеньем к словам твоим, Лоцман. И я это
делаю не для того, для чего живой человеческий глаз

Или белое око в обрамлении красных ресниц рисуют на
корабельных планширах. На благостность вечера я уповаю и
на сон беспробудный захмелевшего аргуса, в час, когда среди
трав, покрывающих рифы, зеленым огнем пробегает проро-
ческое дуновение.

О боги! не нужны благовония, возжигаемые на железных
жаровнях у края обрыва,

Чтоб увидеть, как в предрассветном тумане, широко раз-
вернув паруса, легким женственным шагом ступает по водам
силуэт делийской зари...

Все это сказано вечером и при доброжелательстве вечера.

И ты, о всеведущий Сон, существующий вечно, и я, простой

смертный, не ведающий сокровенных тайн бытия — что расставляем мы вместе с тобою на сих берегах, как не ловушки для ночи?

И Благочестивые девы, что на краю островов, где белеют ротонды, погружают в пугливую ночь

Большие изящные урны, их обвив обнаженной рукой, — чем они занимаются там, как не тем же, что мы?.. Они меня Темным назвали, но я жил в сверкании гроз».

III

Трагедийные Лицедейки спустились...



Трагедийные Лицедейки спустились с обрывистых склонов. И воздели руки в честь Моря: «О, прежде мы возвещали шаг человека по камню — это нам удавалось получше!

Неподкупное Море, ты решаешь нашу судьбу!.. Ах, мы слишком высокого мнения были о человеке под маской! Но, и лицедействуя под соленые шутки толпы, мы не утратили память о возвышенном слогое, что когда-то на этих побережьях звучал.

Наши тексты валяются в грязи и пыли у всех городских застав, их топчут ногами торговцы хлебом, их попирают торговцы вином. Все парики наши пышные черного волоса, все перья роскошные наши достоянием улицы сделались, их на себя примеряют, кривляясь, жрицы свободной любви.

И наши большие театральные маски капканами стали для конских копыт.

О кошмарные Чудища, обезьяньи, драконьи морды свои соразмерить попробуйте с огромными нашими яйцевидными шлемами, подобными головоногим страшилищам, что заползают в поисках пищи в норы чужие на дне... Дряхлые львицы пустынь восседают балластом на каменной кромке, окаймляющей сцену. И золотая сандалия величайшего Трагика в смердящей яме арены блестит,

Рядом с патрицианской звездой и зелеными ключами Заката».



«Но руки мы снова возденем в честь Моря. Благоухают подмышки шафраном, ароматами всех благовоний земли! — горельеф человеческой плоти в форме женского паха, а еще мы приносим глиняный слепок с лица человека, в котором проглядывает незаконченный лик божества.

В амфитеатре огромного Града, сценой которого является Море, толпы натянутый лук нас по-прежнему держит на своей тетиве. И ты, что танцуешь танец толпы, ты, высокое слово наших отцов, — о племенное исконное море на своей неоглядной песчаной равнине, — станешь ли ты молчаливо-загадочным морем для нас, сновиденьем далеким, еще более дальним, чем сновиденье сармата?

Колесо нашей драмы вращается на мельничном жернове Вод, измельчая черную фиалку и дробя чемерицу в окровавленных бороздах вечера. И любая волна, устремленная в нам, вздымает маску приспешника. И, вверх воздевая свои знаменитые руки, и опять и опять обращая лицо свое к Моря, и вскармливая у подмышки своей обгаренные кровью звериные морды наступившего вечера,

И, сами частицы толпы, стремящейся к Моря, мы движемся вместе с толпой, перемещаемся тем движением плавным, что у зыби морской заимствуют наши плавные бедра сельянок, — ах, мы связаны прочно с землей, гораздо прочнее, чем плебс и чем хлеб Королей!

И наши лодыжки шафраном окрашены, и окрашены наши ладони пурпурною краской в честь Моря!



Трагедийные Лицедейки с переулков и улиц спустились, сбегаящих к морю. И влились в театральных костюмах своих в кишень портювого люда. Дорогу себе проложили до уреза воды. И в этой толпе очень кстати пришлись их широкие бедра селянок. «Вот наши руки и наши ладони! Красною краской накрашены наши ладони и рты — и наши фальшивые раны для представления драмы!»

К событиям дня они добавляли свои отверстыe настежь зрачки и в легенду вошедшие ладьеобразные веки. И на вилке их пальцев — пустая глазница огромнейшей маски, изборожденной тенями, словно решеткой тайнописи. «Ах, мы слишком высокого мнения были о маске и о написанном тексте!»

Они и мужеподобные их голоса спустились по гулким лестницам порта. Ведя за собой до уреза воды отблески стен го-

родских и своих свинцовых белил. И, ступая по камню ступеней и молот, испещренному брызгами звезд, они обретали походку седловатых дряхлеющих львиц, выходящих из логова...

«О, прежде мы возвещали шаг человека по камню — это нам удавалось лучше! И вот наконец мы приходим к тебе, прародителей наших легендарное Море! Вот они, наши тела, наши рты! наши крутые широкие лбы, как у телок упрямых, и округлые наши колени, наподобье лепных барельефов самого крупного модуля. Примешь ли ты с благосклонностью, о бесподобное Море, для вызревания драмы наши исполосованные рубцами бока? Вот наши плечи и шеи Горгон, вот под грубошерстной хламидою наши сердца волчиц, и для убаженья толпы вот сосцы наши черные, изобильные груди кормилиц целого выводка королевских детей. Нужно ль нам будет, приподняв хламиду театральную, выставить напоказ на священном щите живота косматую маску детородных частей,

Как в кулаке героя бесстрашного висит на пучке черных конских волос отсеченная его жестоким мечом голова Чужестранки или злой Чародейки?»



«Да, то была нескончаемо долгая пауза ожидания и скудости, когда всеми провалами текста подстерегала нас смерть. И среди размалеванных декораций такая нас грызла тоска, и за всеми нашими масками таким отвращением полнилась грудь от любой исполнявшейся пьесы!...

Нашим каменным циркам увидеть пришлось, как неотвратимо теряет весомость шаг человека по сцене. Разумеется, на раззолоченных наших бутафорских столах красовались по-прежнему все роскошные фрукты этого века, и попрежнему поставцы авансены были щедро уставлены винами мецената. Но к бокалам другим уже прикасались

уста благосклонных богов, и усталому Морю уже не терпелось уйти из сновидений Поэта.

Станет ли Море с его фиолетовой солью отстаивать превосходство над нами молодых надменных актрис, осененных дыханием славы?.. Где же они, наши прекрасные тексты, наш благородный суровый устав?.. И, дабы могли мы и впредь выносить неподъемное бремя служения сцене, под крылом какого Властителя, из числа каких Сотрапезников предстоит нам поддержку искать?

В прибрежном краю за бесконечным кипением толп звучала всегда эта чистая нота тоски по другим сновиденьям, нас манили всегда великие сны об искусстве ином, высокие сны о другом, прекрасном деянье, и величайшая маска всегда восходила на горизонте людей, о Море живое великого текста!.. Ты нам говорило про другое вино для людей, и над серой унылостью наших пошлых ролей кривились порой недовольные губы — это был знак пресыщения,

И мы знаем теперь, отчего покидала нас жизнь среди всех наших выпренних строф».



Отлив, мы взываем к тебе! Жадно мы будем ловить, чужеземная зыбь, неустанный твой бег по безбрежным просторам. И если для встречи достойной с тобою должны к тебе мы прийти в новом, в уже свободном обличье, мы отбросим, как хлам, весь реквизит свой и память свою.

О Море, большого искусства кормилица, мы предлагаем вам наши тела, омытые крепкими винами драмы и зрителей. Мы слагаем с себя перед ликом морским, как у подступов к храму, свое облачение для сцены, шутовские наряды свои для арены. И как в дни трехгодичных больших фестивалей работницы сукновален — или другие, что палками в баках краски мешают, или те, что раздетые догола и красным залитые соком до самого паха, в чанах давяльных виноград

выжимают, — у дорог выставляют свою немудреную деревянную утварь, — так и мы, тебя восславляя, приносим тебе орудия своего ремесла.

Мы к волнам свои маски слагаем и плющом увитые тирсы, и кладем свои скипетры и тиары, кладем свои длинные, точно ферулы волшебниц, черного дерева флейты, и наши доспехи кладем, наши колчаны и наши кольчуги, и туники и руна приносим свои для наших заглавных ролей; султаны приносим из розовых перьев — ими увенчаны наши каски, и приносим двурогие медные шлемы — варваров войско в них мы играем, и щиты тяжеленные с грудями богины!.. И приносим для вас, иноземное Море, огромные наши парадные гребни, похожие на инструменты ткачей, и приносим серебряные зеркала, что отшлифованы сотнями наших ладоней, и точно трещотки, под стрекотанье которых в неистовстве пляшут поклонницы древней Кибелы; и множество крупных наплечных жемчужин в форме жука, и немало больших ажурных аграфов, и наших свадебных фибул.

Мы слагаем с себя и свои покрывала, и хламиды высоких трагедий, обогранные кровью убийств, и шелка, испещренные пятнами вин, что мы пили за столами Князей; и клюки убогие нищенок, и посохи бедных просительниц со светильником жалким и с прялкою вдов, и водяные часы наших стражников, и роговой фонарь часового; и лютную из черепа сернобыка, и больших орлов с золотою отделкой, и другие трофеи алькова и трона — здесь кубок застольный и урна, сделанная по обету, сосуд для воды и медный таз для омовения гостя и для освежения Иноземца после дальней дороги, кувшины и склянки для яда, расписные шкатулки Прелестниц и дорогие презенты Посольств, золотые ларцы для посланий и царские грамоты переодетого Государя — вместе с веслом, уцелевшим от кораблекрушения, с черным парусом, предвестником плохих новостей, и с факелами жертвоприношения, с королевской хоругвью в придачу и с

опахалами торжественных шествий, а также с трубами красной меди, в которые Провозвестницы наши трубят... всю бутафорию дряхлую легенды и драмы мы вам приносим! мы вам приносим!...

Но мы сохраним, обетованное Море, свои на деревянных подошвах сандалии и сохраним у себя на запястьях золотые браслеты Любовниц — в них мы будем скандировать творенья грядущие, великие драмы, которые вскорости созданы будут, скандировать и завораживать публику волшебной пульсацией нездешних ритмов».



«А ныне скудость и скудость.. Пускай же пред ликом морским нам будут обещаны волны новых творений — творений прекрасных и долговечных, творений живых и прекрасных — великих мятежных творений, великих дерзких творений, способных самый неистовый голод насытить и вернуть нам вкус к бытию, достойному человека, и снова весомость вернуть шагу человека по камню, —

Поистине величайших творений, чтобы мы воплотили их на арене, в том числе и творений таких, чей жанр и чей слог пока никому не известны... О, если бы нас, погрязших в трясине безликости, высокий слог поразил,

пришедший от Моря, из неведомых далей пришедший; о, если бы нас крылатый размер пристрастил к великому повествованию о мире и о вещах, о том загадочном мире, который таится за миром зримых вещей; о, если бы вздыбилось в нас дыханье глубинное, подобное морю и вздохам его чужестранным, огромным на необъятном и вольном просторе!

Крылатый размер, что в наших пределах совершенно неведом... Нас научи, о Могучее, державной торжественной поступи возвышенного стиха, и открой нам тональность высот сокровенных искусства, о Море высокого текста! Обучи нас державному ладу, и дай музыкальный нам ключ, который на красных гранитах драмы отворит перед нами врата в заветную тайну любви!.. Кто для нас возродит, в могучем движении царственных вод, великое слово, взятое в долг у народа?

Наши бедра учит двигаться плавно колыханье неспешной волны, нашим бедрам уже отдаленные ритмы простора морского слышны. Пусть нас опять призовут, пусть опять прозвенят по плитам каменным сцены наши шаги трагедийных Актрис! Пусть опять обратят нас в сторону моря, словно стрелу на огромном каменном луке, чьей тетивой является сцена, и снова пусть вложат в наши молящие руки — ради прославления человека со сцены — великие тексты наших ролей, что обсыпаны искрами молний, и сопровождаются суровым рокотом гроз, и исхлестаны жгучей крапивой морской, и медузами обожжены, и где вспышками дальних сигнальных огней пробегают откровенья пророческих снов и страданья плененной души. Там свищет спрут наслаждения, там даже беда разноцветными углями блещет в налетах фиолетовой соли, подобно зеленым лихим огонькам, что мерцают на обломках кораблекрушения... Дозвольте нам вас про-

читать, обещания, у порога вольнолюбивого, и тогда в священном золоте вечера речь великого Трагика снова нас поразит над громадой толпы —

Так поверх высокой стены, на широко раскрытой странице неба и Моря, караваны ладей огибают неожиданно оконечность далекого Мыса, а на сцене тем временем своим чередом развиваются хитросплетения драмы...▶



«О, наш крик был криком Любовниц! Но нас-то, Служанок, кто нас самих посетит в наших каменных спальнях, меж напрокат взятой лампой и железной треногой, где висят над огнем наши щипцы для выщипывания волос? Где наш текст, где устав? И где тот Учитель, что вызволит нас из душных узилищ упадка? Где же он — о, как устали мы ждать! — тот, кто сумеет нашей душой овладеть на распутье сегодняшней драмы, овладеть, как зеленая мощная крона у преддверия храма?

О, пусть он придет — с моря ль явится Он иль придет с Островов? — тот, кто будет держать нас в подчинении полном своем! Пусть овладеет он нами, пока мы живы еще, — или мы сами им овладеем!... Человек воистину новый по

всей своей сути и стати, равнодушный к собственной силе и даже к самому факту своего появления на свет — в глазах еще не погасли пунцовые искры, пламеневшие в его немыслимо долгой ночи... Пусть он возьмет в свою длань управление хаотическим ходом вещей суматошного нашего века!

По сокровенному трепету нетерпеливой орлицы в наших клетках грудных мы узнаем о приближении властном, по недовольным морщинам узнаем на поверхности вод, по капризной гримасе на лице вездесущего духа, уловившего издали след всемогущих богов... Ипостаси новые текста

Открывает нам Море на гранитных листах своих книг. А ведь мы не слишком высокого мнения были о возможностях текста!.. Слушай, богами обласканный Муж, слушай шаги к арене идущего Века. Мы, высокие девы, шафраном окрашенные в окровавлённых владениях вечера, до ногтей обогранные пламенем вечера, еще выше мы воздеваем свои знаменитые руки и устремляем их к Морю...

Милости новой мы будем просить для возрождения драмы ради величия человека в его поступи твердой по камню».

X O P

3

.....

Бесконечность обличий, расточительность ритмов. Но ритуала пора настает — пора сопряжения Хора с благодарным струеньем строфы.

Благодарно вплетается Хор в движенье державное Оды. И опять песнопенье в честь Моря.

Снова Певец обращает лицо к протяженности Вод. Неоглядное Море лежит перед ним в искрящихся складках, Туникою бога лежит, когда расправляют любовно ее в святилище девичьи руки,

Сетью общины рыбацкой лежит, когда расстилают ее по прибрежным отлогим холмам, поросшим нещедрой травой, дочери рыбаков.

И, пётля за пётлей, бегут, повторяясь на зыбком холсте, золотые узоры просодии — это Море само, это Море поет на странице языческим речитативом:

•

«...Море Маммоны, Море Ваала, Море безветрия и Море шквала, Море всех в мире широт и прозваний, Море, тревожность предначертаний, Море, загадочное прорицанье, Море, таинственное молчанье, и многоречивость, и красноречивость, и древних сказаний неистоцимость.

Качаясь, как в зыбке, в тебе, зыбучем, взываем к тебе, неизбежное Море — изменчиво-мерное в своих ипостасях, неизменно-безмерное в пенности гулкой; многоликость единого, то жестство разного, верность в коварстве, в дружбе предательство, прилив и отлив, терпеливость и гнев, непреложность и ложь, и безбрежность, и нежность, прилив и отлив — взрыв!

О Море, медлительная молниеносность, о лик, весь исключительный странным сверканьем! Зерцало изменчивых сновидений, томленье по ласкам заморского зверя! Открытая рана во чреве земном — таинственный след неземного вторженья; сегодняшней ночи безмерная боль — и исцеление ночи грядущей; любовью омытый жилища порог и кровавой резы богомерзкое место!

О неминуемость, неотвратимость, о чреватое бедами грозное зарево, влекущее властно в края непокорства; о не подвластная разуму страсть — подобный влечению к женам чужим, порыв, устремленный в манящие дали... Царство Титанов и время Титанов, час предпоследний, а следом последний, а вслед за последним еще один, вечно — в блеске молнии — длящийся час!

О многомерная противоречивость, источник раздоров, пристанище ласки, умеренность, вздорность, неистовство, благостность, законопослушность, свирепая ярость, разумность и бред, и еще — о, еще ты какое, скажи нам, поведай, о непредсказуемое!

Бесплотное ты и до дрожи реальное, непримиримое, неприручимое, неодолимое, неборимое, необитаемое и обжитое, и еще, и еще ты какое, подсажи, несказанное! Неуловимое, непостижимое, непререкаемое, безупречное, а еще ты какое, каким ты пред нами предстало сейчас — о простодушие Солнцестояния, Море, волшебный напиток Волхвов!..»

.....

.....

•

Мы теперь сами взываем к тебе, минуя посредничество Поэта. Пусть между тобою и нами, людьми, больше не будет досадной помехи — блеском несносным сверкающих слов...»

«Ах, у нас были слова для тебя и однако при этом слов не хватало,

И вот нас любовь с тобою слила, с тобою, предметом всех наших слов,

И слов уже больше у нас не осталось, поскольку не знаки они, не узоры,

Поскольку теперь они — сами предметы, которые названы и украшены ими;

Или, вернее: читая тебя, повествование наше про Море,

мы словно становимся сами тобою, повествованием нашим
про море,

И морем самим становимся мы, и рушится прежняя
Несовместимость, — становимся текстом, фактурой его и
непрестанным движеньем морским, —

И просторной становимся мантией ритма, в которую
радостно мы облачаемся...»

П О С В Я Щ Е Н И Е

Полдень, его голодные звери...

Полдень, его голодные звери, и Год его высокого моря над
столом простирающихся Вод...

— Что за черные окровавленные девы идут фиолетовыми песками
вдоль сторонящихся робко вещей?

Полдень, его гомонящие толпы, гордая твердость его законов...

Птица видит в привольном паренье: человек избавляется
от собственной тени у самой границы владений своих.

Но на челе нашем чистое золото блещет. И торжествуют
победу над ночью алые гривы наших коней.

Вооруженные всадники по краю обрыва совершают объезды
полуостровов.

— Полдень, его кузнечные горны, его суровая дисциплина...

Крылатые мысы вдали открывают путь синеватой искрящейся пене.

Всей своей солью сверкают храмы. Заключенные в кварц, пробуждаются боги.

И на утесе вверху караульщик средь желтеющей охры и дикого мела трубит в свой железный сигнальный рожок.

Полдень, и блеск пророческий молний; Полдень, на форуме хищные звери и крики орлана на рейде пустом...

— Мы, кто в свой час умрет неизбежно, речь о бессмертном ведем человеке, сидящем у костра мимолетных мгновений.

С трона слоновой кости поднимается Узурпатор. Усталость бурных ночей смывает с себя любовник.

И в честь великого Моря человек в золотой маске все свое золото снимает с себя.

1953–1956

Х Р О Н И К А

Перевод Натальи Стрижевской



I

«Великие годы, мы здесь. Вечерняя свежесть почует на весах, дыхание высей на наших порогах, и наши лица нагие на арене простора...

«Вечером алым от долгого жара, когда опускаются копыя, как руки, мы видели небо на западе цвета закатного зарева, цвета пожара, где смешан багрянец и пурпур и рой москитов соляных копей: вечер больших барханов, вечер большого дыхания, где вектор свой чертит ветер, где в дня пробелах сгущаются сумерки речи.

«И рвущее душу зрелище на освещенной арене столетья: холстина холмов, омытая в утробных водах земного чрева,

и рука человека, что щиплет корпию, врачует сине-зеленые кровоподтеки неба, снов кровавые ссадины — живые раны.

«Туча громоздкая и неуклюжая пересекает, сверкая, темное небо южное, в его сияющем улье, белея брюхом акульим меж газов опаловыми плавниками. И жеребенок вечера альый громко ржет в роще кораллов. Вознесение плавное, так звезды пенорожденные восходят на небе; их отражения в зыби плавают. И наша мечта витает в заоблачных далях. Но разное море нам снится сегодня.

«Как ни высок форум простора, вдали другое вздымается море, нам дышит в висок неотступно: и темная масса уступа встает отвесно из толщи тысячелетий, как Азиатские крепости за чертой горизонта, за чертой вечности, где человечество не знает различья живущих и мертвых.

«Подними голову, человек вечера. Розой столетий увенчано чело твое ясное. И небесное древо, словно опунция, на западе окутывается кошенилью пунцовой. И на лугах лазоревых зоревых с крепким запахом соли и йода мы пасем острова, как туров, что на пастбищах высокоморья отъедаются земляникою зарева и сполохов туей.

«В жару небосвод разметался и угли устилают дорогу. Обеты брачные ночи начертаны золотом на поднебесных отрогах».

II

«Великие годы, мы лгали: нам путь устилают угли, не пепел... Лик осиян, дух высок, но до каких пределов идти нам по свету? Время, что измеряют годами, больше не наше время. Ни с худшим, ни с малым нам нечего делать. Божественный вихрь в последний раз вскружит нас в своей круговерти...

«Великие годы, идем мы по бесконечным тропам неисчислимым. Хлыст свищет над каждой гривой! И вопль высокий звенит в высотах. И ветер из темной дали летит навстречу, что гнет человека, как лемех о камень...

«Мы следом за вами идем, крылья вечера... Раскрыт глаз мрамора, расширен зрачок базальта! Над землей звучит

глас человеческий, на камне лежит рука человеческая, что орла извлекает из ночи гнездовья. И в каждой дате голос Господень. И наш путь пролегает вне пространства и времени.

«Смерть в рукавицах железных с узором слоновой кости, тщетно ты путаешь наши тропы, усланные костями, наш путь лежит еще дальше. Наш оруженосец в кольчуге из кости, тот, кого мы поим и кормим, нас нынче вечером бросит за поворотом дороги.

«И остается добавить: мы будем жить и в мире замирском, и за чертой смерти, и на том свете, и в самой смерти мы будем жить. Кони промчались к погосту, конские морды ранят еще свежесть шалфея. Гранатовый сок Кибелы уста наших жен окровавил.

«Сумерки нам королевство, тот час — предтеча вечера, что простирает лучи столетья эпохе навстречу. Нас ждет не тронное кресло, а мантия златотканая, с тучи свисающая шафранно, и груды червонного света, что побирушки сумерек тащат со всего света, так на королевские шелкопрядильни везут отовсюду шелк и индиго.

«Мы сыты по горло мелком указующим под теоремой недоказуемой. А вы, наши старцы великие, в негнущихся тогах, что сходите к нам с пьедесталов с гранитными книгами, мы видели, ваши уста шевелились в зените вечера, от ваших слов нам ни жарко ни холодно.

«Юнона-Луцина, странствующая по взморьям и побережьям в помощь родильницам, сегодня столько рождений ждут ваш светильник, и лик Божий сияет слепящим светом в блеске гранита и соли и черных гранях обсидиана. И колесо в наших ладонях вращается, словно каменный бубен ацтеков».

III

«Великие годы, приходим мы со всех взморий земли. Наш род древнее, чем Рим и Эллада, и наше лицо безымянно. И только времени ведомо наше фамильное древо.

«Одни мы бродили по незнакомым дорогам, и нас неродные моря относили к берегам чужесторонним. Мы повидали пропастей темень и оборотней нефритово-тинную зелень. Нас озаряли сполохи пламени, и в страхе ложились верблюды, и кони храпя взвивались под нами. И грозный марш выбивает небо о стенки наших железных походных кружек.

«Великие годы, мы здесь. Мы не взрастили ни роз витражных, на акантовых листьях порталов. Но азиатский муссон

прихлестал не однажды свою известковую кипень, свою молочную взвесь к изножью нашего ложа ротангового, нашей кушетки кожаной. И четверо дней и ночей на восток катили огромные реки в море свой илистый хилус, смарагдовый сок диких лимонов.

«По элювийной почве тропиков, по красным шпатам, где ползают зеленые мухи шпанские, звон первых капель теплого ливня мы слышали в сумерках вороненых средь легких теней сизоворонок, летящих в Африку, и косяков, что к югу тянутся, чей шелест крыльев топорщит аспид озера, как шифер крыши.

«И всадники вьючных животных меняли на войлок наших шатров. Над нами кружили крошечные пчелы пустыни. И тельца божьих коровок алели на желтом песке островов. Но не нам в угоду античная гидра сушилась от крови возле огней древнего города.

«Мы были в открытом море в день первого сбоя и солнечного затмения, когда смоляная волчица неба впиалась зубами в сердце звезды наших предков. И в серо-зеленую бездну, туманную, как взгляд младенца, с тучным запахом сева, мы окунались нагими, моля, чтоб добро зачлось нам за зло, а зло приносило добро.

«Грабители мы воистину! Но ни один адвокат кроме нас не предъявит наших писем с признанием. — Столько святилищ вскрыто, столько идей раздето, столько доктрин заголенных, как женщин в юбках разодранных! Торги вдоль всех парапетов и молот черных кораллов, жгут вымпелы на всех ряях, и наши сердца пред рассветом стоят на открытом рейде...

«Вы, что для нас пролагали путь, для нас прозревали душевную суть, рок-скиталец по водам, что сделать, чтоб вы нам поведали нынче вечером, где та рука на свете, что нас

облачает вечно в пламенный пеплум легенды, со дна какой бездны алой зари поднимается пурпур ко злу и ко благу и та незримая малость, что в нас от Бога, что в нас от мрака?

«И не единожды мы рождались на протяжении дня бесконечном. И тщетно к длинным столам нас звали, к застольям странным в отсутствие хозяина, мы проходили мимо, из нетей рожденные, кто знает, кем мы предстанем? Что знаем мы о человеке, о призраке нашем вечном, что скрыт под его долгополым плащом грубошерстным и фетровой широкополой шляпою чужестранца?

«Так можно видеть под вечер в селеньях, куда ходят пахари за семенами, — заброшенные колодцы, засохшая грязь на площади со следами копыт раздвоенными — чужестранцев безликих и безымянных с кудрями всклокоченными, что под навесом топчутся на камне порога, глядя на девушек, что цветами тьму убирают и ночь оплетают, словно бутыль с синим вином потемок».

IV

«Скитальцы, земля, мы мечтаем...

«У нас ни арпана, ни ленных земель, ни наследных угодий, и ни сантима от предков к нам не переходит, и нечего нам оставить ни внуку, ни сыну. Кто знает наш возраст и наше имя в людях? Кто будет спорить, откуда мы родом, кому есть дело до нашей даты рожденья? Наш эпоним анонимен, и фамильное древо скрыто мраком безмолвья. И наши творения зреют вдали от нас в кущах молний.

«Скитальцы, что знаем мы о старинном ложе предков под балдахином с гербами, чье дерево источено в течение веков жучками?.. Наше имя не сыщешь ни в бронзовой вязи гонга древнего замка, ни в прабабушкиных молеельнях с резными

панелями из джакаранды и кедра, ни на гобеленах и дивных шпалерах среди вытканых золотом единорогов.

«Нас не было там, и наше имя не среди лютней, арф или клавинопов, не в лебединых изгибах мебели цвета мадеры и браги, не в сизелюрах бронзовых канделябров, не в каннелюрах пилястров, не в стеклах витражных с факетом высоких дубовых шкапов библиотечных, не на шагрени медовой, тисненной золотом, не на алом сафьяне эмира,

«Но в скорлупе дурно пахнущей новорожденной черепахи, но в переднике горничной и в раскаленном горне, и в растопленном воске в шорном сарае, где оса увязает, и в кремнях старых ружей, в янтарных стружках у ног корабела, в форштевне парусника на стапелях верфи, и в свежем тесе, столь белом, словно напылен в коралловой роще, и в пестром мраморе в мастерской каменотеса, готовом для облицовки зал парадных, и в наковальне, где ладят подкову, и в той цепи, блестящей под ливнем, что поднимает на рога месяца, заставляет идти на гребень черного иноходца с тяжелыми сумками чересседельными...

«И запах мерзлых водорослей доходит в полночь к нам под крышу звездную».

V

«Великие годы, вот мы. Назначена встреча давно с часом великого смысла.

«Спускается вечер, и нас возвращает на берег с пригоршней открытого моря в ладонях. Но в плитах под сенью деревьев вековых эхом не отдаваться шагам человеческим, ни по улицам города, ни под гулкими сводами мощенного гранитными розами двора аббатства.

«Пора сжечь скорлупу прошлого, обросшую водорослями. Южный Крест висит над таможней. Фрегат, озираясь окрест, кружит над островом; гарпия, что-то высматривая,

парит над джунглями с обезьянами, змей лианами и кровососами. Огромное тело лимана придавлено ношей неба.

«Великие годы, гордо покажем мы нашу долю: руки наши пусты и от добычи свободны. Все свершено и все еще предстоит свершить; все воспето и все еще предстоит воспеть. И возвращаемся мы, сгибаясь под ношей ночи и зная о жизни и смерти больше, чем все человечества сны пророческие. И не гордыня в душе отныне, а жар отваги; и сердце в цвету сияет ясно и сине, словно клинок обнаженной шпаги.

«Превыше сказаний и снов эта страсть бытия, эта власть бытия, эта мощь бытия, эта былль бытия, и этот великий ветер кочевий, что низко волочит свой плащ вечерний и, взвивая прохладные складки, приоткрывает нам, отлетая, светящийся профиль в проеме двери тающий очерк Богородицы ночи».

VI

«...Как всадник, что, скакуна по холке похлопывая, грезит далеко, мечтает высоко: «Я понесу в далекие дали славу моего дома» (И равнина под ним катит навстречу в дымке вечера пашни широкоплечей крупные кудри, жгуты соломы чугунной и время, размеченное на перегоны, и видит он — только это и видит — синь окоема в белых султанах ковыльих и землю, раскинувщуюся устало, что пасет на лугах зеленых туров своих легендарных и терновых кустов отары).

«Как тот, кто новым сеньором вступает в права владения, и, акты земельные скомкав, озирает пределы угодий

огромных (от горизонта глаз не отводит, голову гордо не опускает перед простором),

«Мы установим повсюду наши исконные обычаи и законы.



«Великие годы, вы царствуете... И столь высок и огромен простора ярус, что всюду лишь море и его ярость — море заморское, море замирское, море, что нас вскормило, море, что держит наше кормило, море, что млеко утра поило нас из рожков перламутровых, море, что нас баюкало в своей исполинской раковине...

«И для высоты прилива сердце людское служит мерилом. И мертвая зыбь океана земного, где заросли манглиевых, реторты магов, раскинулась сонно, как синих вод винограденник, что зреет под солнцем, лозы и волны перевивая.

«Свисти потихоньку, бриз потусторонний, у изголовья бессонного человека великовоковья. Смерть больше не наша доля. На коже замли проступает соль. И вечер ведет свои речи гебра. Дух вод витает над песчаным гребнем, как чайка Гоби. И несказанное реет в апогее эпохи...

«Великие годы, ваше господство, вас тьмущая тишь, и тишина вам имя. Мечта огромна и сном омыта. Океан сущего нас обступает. В иллюминаторе — смерть, но в стороне наш путь пролегает. И наша песня превыше, чем сон на коралловых тесносплетеньях столетья взмывает. Нет слова, что было бы нам не по силам...

«Маятник мига качается мерно от сотворенного — к несотворенному... Великое дерево раскинуло крону в ясной темени вечера: великое дерево вечное, что и доньше лелеет наше далекое детство, что ночью росною, выступая из леса на дорогу, воздевало к звездам и своему Богу исполинскую ношу, усеянную розами...

«Великие годы, вы на подходе. Во мрак впился зрак огромной арены; ...душа испытаний алчет, в предчувствие опасности взбухли вены... Гигантское зарево дышит на западе и наше чело овевает свежестью бездны.

«Год за годом, как поступь сущего, что не ведает праха и тлена, высокая участь без усталости по земле мертвых идти походом. И голос земли — плач моря, тоскующего по кораллам, и голос жизни — на косогоре плач терновника в пламени алом. И этот ливень древний, этот дождь первозданный во мраке-свете воды и пены, легкого пепла и марева, и взвеси извести, осевшей муарово на стенах бездны, привычной к бденям.

«В старину люди высокогорья, раскрасив маски красною охрой по слою глины, исполняли танец шаманский, старинный недвижимый пляс соколиный. Здесь, нынче вечером, глядя на запад, где нас то в коромысло гнет ветер, то треплет, как мачту, довольно только руки раскинуть и три аршина шири отмерить, чтобы исполнить недвижимый танец эпохи во весь мах крыльев.

«Или, присев на землю, чабанским жестом чабрец разминая, глядя валун крутолобый среди ядер миндальных и копры камешков мелких, бегущих нам под ноги с гребня, среди нежных шпатов, породистых гнейсов и полированных сланцев, прислонимся ко склону и затеряемся в глыбах и складках...

«Бессмертна полынь, примятая нашей ладонью».

VII

«И запахиваясь плотнее в колючую ветошь, в ковыль и вереск, мы разматываем под ветром свиток века.

«За нами год на ущербе, земля в грубых сгибах породы, в тяжелых морщинах камня, как плащ пастуха просторный из домотканой шерсти, завязанный под подбородком...

«Придется ли нам с головой им окутаться — нас обступает Океан сущего — так лоб прикрывают от бури капюшонном намокшим бурым, так, закрываясь от снега поллой сутаны, высокий духом не меняет свою дорогу, но обращается к своему Богу?

«У нас за плечами вьется, стелется по вербене полотнище времени жестковорсное, что тащит ветер на север.

«Земля вращает свои веретена, ночью и денно прядет неустанно из ковыльей кудели, из ворса кокосов, очесов водорослей, из паутины и терна, и голубые майские тени перегоняют на землю неба отары.

«Совершенна, земля, твоя хроника, и никакому Цензору не внести свою лепту в твою летопись и не исправить ни буквы. Мы пастыри будущего, и всей длины ночи девонской нам мало, чтобы сложить оду тебе во славу... Но ко двору ли пришли мы столетью? — и были ли мы однажды на свете?

«...И так и добру и злу учит нас уму-разуму земля, плывущая сквозь эпохи — смешенье речений разных, кочевье почвы, вод коловращенье и непрерывный ряд превращений, и под многоярусной кручей моря кипучая ярость и, бьющийся который век подряд о камни гряд, неистовый прибой с искусанною глиняной губой...

«О лик великой земли, пусть мой крик по славу твою в хор слов хвалебных последним вольтется, умножит сонм твоих лавров! Любовь сгущает могучий сок диких ягод, о чернозем крутовьющийся, земля курчавей печали мавров! о память в людских сердцах о свете утраченных царств!

«На западе небо в пурпур рядится подобно Калифу, земля лозы свои омывает багряным огнем бокситов и чело человек погружает в ночи вино: бочар, наклоняясь над обручем, кузнец, стоя над горном, и возница, к ручью припадая горному.

«Источникам слава, откуда черпаем! Дубильщики кожи подобны жрецам над жертвенниками; псы погружают морды

в груды отбросов у двери колбасной, но руки краснодеревщика сообщают цвет мореного дуба полночным думам, глубокий тон мавританской кожи.

«...О, память, раскрой твои соленые розы. Вечера роза таит в своей сердцевине звезду как жука-бронзовку. Превыше сказаний и снов удел человека, что отдан под залог звезд!

«Великие годы, вы отданы в рост. Женщины встали в долине, идут твердым шагом по красной коже бытия.

«Здесь орды веков прошли!»

VIII

«...Великие годы, вот мы. Вы слышите поступь эпохи исхода. Довольно полнить закрома прошлого, время провеять время, проветрить эпохи, пора пространство распахивать настезь.

«Завтра победные оргии бурь-мародеров, а после за работу примутся молнии... Уже начертал на земле свой вензель жезл небес. Союз заключен.

«Пусть встанут старейшие — древнейшие из деревьев, подобно роце стволов столетних наших душ родословных, и нас советом поддержат, и мы в них опору обрящем... И вечера сумрак строгий нежно склонится к ландам на камень горячий дороги, освещенный лавандой...

«Объято трепетом долгое тело ствола, облитого смолой янтарной, и длинный стебель цвета старой слоновой кости.

«И наши дороги уведят нас в кущи молний...

«Другие пусть строят среди сланцев и лавы. Другие пусть облицуют дворцы и площади мрамором.

«Слышна нам песнь грандиозная ныне. Пред нами иная стезя, и факел несут от вершины к вершине...

«То не колыбельная песнь, не пряхи песнь скудельная, не гинекея песнь древняя, не песня девы и не застольная песня пира, не песня воина, что нанижет красные зерна на ржавое лезвие старой фамильной рапиры,

«Но песнь великовековья, песня клинков, песнь слово-слова сущего, песнь ратоборца и первопроходца, что один на один с ночью путь себе пролагает, от очага удаляясь отчего.

«Гордость души пред душой и гордость растущей души, как шпаги свет голубой.

«И наши мысли высятся, словно мужи во мраке, что на заре, покинув палатки, по алому небу шагают твердо, на левом плече неся черные седла.

«Мы покидаем эти края. Плоды земли ветки сгибают у нас под окнами. Водой небесной наполнены кадки. И жернова зернистого камня дремлют на песчаном пригорке.

«Наши дары, о ночь, ответь, куда нам нести и наши лавры и наши хвалы? А гордость? А горе?.. Мы укрываем

в чаше ладоней, пестуем, словно птенца, сердце людское, где бьется неутолимо, где бьется неутомимо столько скрытой любви...

«Слушай, о ночь, в песках пустыни безводной, под сводами полуразрушенных арок, среди руин, источенных суховеями, и растоптанных муравейников, слушай вольную поступь души неприкаянной.

«Так по плитам тяжелобронзовым бродит зверь одинокий веками.

«Великие годы, вот мы. Измерьте глубину сердца людского».

1959

**ПЕСНЯ ТОЙ,
ЧТО БЫЛА С ТОБОЙ**

Перевод Натальи Стрижевской



Любовь, о любовь моя, длинна была ночь, было длинно бденье,
что поглотило столько твердей, тварей, творений.

Жена я вам, о любовь моя, и высоко мое назначенье в
сумерках сердца мужа.

Летняя ночь брезжит за ставнями; грозди черного винограда
наливаются синью на лозах; каперсы вдоль дороги
красуются своей наготой, как розы; и кипарисы накапливают
дня ароматы в смолистых каплях.

Жена я вам, о любовь моя, в тишайшей тиши сердца мужа.
Земля после сна — вся дрожь и трепет крыл насекомых под
листьями: жала и хоботки в зелени мгlistой...

Я слышу, любовь моя, как все на свете твердит нам о
смерти. Голос совы Паллады доносится из кипарисо-
вой рощи; Церера руками белыми нам орехи подносит
и открывает плоды граната; соня свила гнездо в
развилке старого дерева, и сонм саранчи прогрызает
землю до могилы Авраама.

Жена я вам в сновиденье великом, в дальней дали сердца
мужа:

дом открыт вечности, палатка разбита возле порога, и
повсеместно встреча готова чудесной вести.

Небесные повозки спускаются с горных отрогов; охотни-
ки на козерога нам поломали ворота; я слышу, скри-
пят золотые колеса по желтым дорожкам сада, Бог в
колеснице едет мимо нашей ограды... О любовь моя,
грезы великой, сколько молитв отзвучало у нашей
калитки, сколько босых ног отпечатались на дворовой
брусчатке и на черепице кровли!..

О Короли Великие, в дубовых футлярах покоящиеся под
плитами тяжкой бронзы, вот наши дары, подношения
скромные для ваших душ непокорных,
рвы крепостные пересыхают в час жизни отлива, люди
встают на могильных плитах и жизнь собирает живое
под свои крылья!

Ваши народы обескровленные из небытия восстали, ваши
королевы заколотые предстали горлицами; и в старой

Швабии строятся последние рейтары; и воины прищипывают коней на дорогах научного поиска; на полный иронии пергамент истории садится пчела пустыни и заселяют легенды Востока безлюдные дали.

Смерть в маске свинцово-белой оmyвает ладони в наших источниках.

Жена я вам, о любовь моя, на всех празднествах памяти.

Слушай, о слушай, любовь моя,

рочот любви великой в пору жизни отлива: живые торопятся жить, к жизни мчат как гонцы государевы.

Дочери вдовьи в городе веки подкрашивают пробкою жженой; за шкуры белых барашков с Кавказа платят динариями; старые мастера-китайцы ладят черные джонки руками, от лака красными; из трюмов голландских барок пряно пахнет гвоздикой. Везите, везите, верблюжьи караваны, груз тонкорунной шерсти в кварталы сукновалов! Нынче время землетрясений на западе, где церковей Лиссабонских паперти на площадях разверзлись и алтари пылают над красным кораллом бездны, горячие слезы восточного воска текут по лицу вселенной, и отплывают в далекие Индию любящие опасность.

Любовь моя, сновиденье великое, сердце мое во власти вечности, ваша душа вечно властная,

пусть будет к нам милосердно на всех дорогах столетия все, что вне сна мы встретили, все, что выпадет нам на свете!

Смерть в маске свинцово-белой является на негритянских празднествах, смерть в маске шамана, которой менять

свой выговор поздно. Ах, все детали и все подробности памяти, все, чем мы стали, и все нами познанное, что нам вне сна предстало одной мужней ночью — да будет до света выпито, до нитки роздано, дотла сожжено, дабы вечером пеплом развеяться по ветру — но молоко кобылье, что утром надоит татарский всадник, на ваших губах, о любовь моя, доньше хранит моя память.

1968

ПЕСНЬ РАВНОДЕНСТВИЯ

Перевод Натальи Стрижевской

Тем вечером были гулки удары грома, и я внимал у
земных надгробий
ответу, данному человеку, и он был краток, был только
глухим раскатом.

Любимая, с нами был ливень небесный и ночь Господня
была непогодой,
и любовь повсеместно поднималась к истокам.

Я знаю, я видел: жизнь восходит к своим истокам, и
убирает молния заброшенные каменоломни,
и желтую хвою сосен ветер наносит в углы террасы,

и сев Господень в море не тонет, слетая на сизо-суровые холстины планктона.



Бог хранит наш лик многоликий.

Сир, великий земли владыка, видите, вьюжит, на небе ни трещины, ни изгиба, и земля тяжко навьючена, синь натянута туго над землей Саула и Сифа, Чжуан-цзы и Хеопса.

Голос человека на устах человека, голос бронзы закован в бронзу, но где-то на свете, где небо немо, вдали от века

ребенок появился на свет, чей род никому неведом, и гений ударом верным осеняет его лоб белый.

О Мать-Земля, не заботьтесь об этом заморыше, век молод и бодр, век — многоголовое толпище, а жизнь следует своей дорогой.

И песнь поднимается к нашим устам, что не знает своих истоков и не течет к устью смерти:

час равноденствия Земли и Человека.

П О Э З И Я

*Речь на банкете по случаю вручения
Нобелевской премии 10 декабря 1960 года*

Перевод Натальи Стрижевской

ПОЭЗИЯ

Я принял почести, которые здесь воздаются поэзии и которые я спешу ей вернуть.

Поэзия прославляема не часто. Ибо, по-видимому, все дальше расходятся поэтическое творчество и жизнь общества, находящегося в кабале материальной. Отдаление, принимаемое, хоть и не искомое, поэтом, его не избежал бы и ученый, не имей наука практического применения.

Но как ученого, так и поэта здесь нынче славят за их беспристрастную мысль. По крайней мере, пусть в них не видят хоть здесь братьев-врагов. Поскольку тем же вопросом пытаются они ту же бездну, и различен лишь метод познания.

Когда постигаешь драму современной науки, открывающей даже в математическом абсолюте пределы разумопостигаемого; когда на наших глазах две основополагающие доктрины в физике, опираются одна — на всеобщий принцип относительности, а другая — на квантовый принцип неопределенности и индетерминизма, который ограничивает навсегда саму точность физических измерений; когда мы слышим, как самый великий новатор века, основоположник современной космологии, создатель воистину всеобъемлющего интеллектуального синтеза, воплощенного в уравнениях, призывает интуицию в помощь разуму и провозглашает «воображение подлинной питательной почвой науки», и, идя еще дальше, объявляет благом для ученого обладание подлинно «артистическим видением» — не дает ли это нам право считать поэтический метод столь же законным, сколь и логический?

В действительности всякое создание разума есть прежде всего создание «поэтическое» в точном значении слова; в равноправии форм чувственного и рассудочного раскрывается единый смысл деятельности ученого и поэта. Что ведет дальше и видит дальше: дискурсивная мысль или поэтический эллипсис? Из этой первобытной ночи, откуда ощупью ищут выход двое слепорожденных — один во всеоружии научного снаряжения, другой, опираясь только на озарения своей интуиции, кто поднимется первым, узревши больше фосфорических сполохов? Ответ не имеет значения. Тайна едина. И великое прозрение поэтического духа не уступает ни в чем драматическим открытиям современной науки. Астрономы были потрясены теорией расширяющейся вселенной, но так же расширяется и бесконечность человеческого духа — та же вселенная. Сколь бы далеко ни раздвигала наука свои границы, на всех выгнутых дугах этих вытянутых границ

будет вечно слышен гон охотничьей своры поэта. Ибо если поэзия и не является «абсолютной реальностью», как сказано выше, она есть наибольшее приближение к ней, наиярчайшее провидение ее, тот предел совмещения, где реальность в поэме постигает саму себя.

Аналогическая и символическая мысль, озарения сопрягающего образа, игра его соответствий, тысяча цепочек связей и причудливых ассоциаций и, наконец, великий дар языка, воплощающий само движения Бытия, открывает поэту сверхреальность, неведомую науке. Есть ли диалектика более внятная человеку и более упоительная? Когда философы оставляют пустовать метафизический порог, поэт заступает на место метафизика, и тогда уже поэзия, а не философия становится истинной «дочерью изумления», говоря словами античного философа, которому она всегда была крайне подозрительна.

Но поэзия не столько форма познания, сколько образ жизни — и жизни целостной. Поэт жил в человеке пещерном, он останется жить и в человеке атомного века, ибо он неотъемлем от самого человека. Из жажды поэтической, жажды духовной родились религии, и дар поэзии вечно возжигает божественную искру, высекая ее из человеческого кремня. Когда рушатся мифологии, божественное находит в поэзии прибежище, а может быть, и грядущее пристанище. И даже в жизни социальной, в сиюминутности человеческого существования, когда факельщицы античного шествия сменяют Дарующих хлеб, поэтическое воображение разжигает высокую страсть народов, алчущих света.

Слава человеку идущему, согбенному под ношей вечности! Слава человеку идущему, с ношей своей человечности, ему ведом новый гуманизм, воистину

универсальный и осязаемо целостный... Верная своему долгу проникновения в глубь человеческой тайны, современная поэзия в своих деяниях стремится приблизиться к человеческой общности. В этой поэзии нет ничего от пифизма. Еще менее в ней от чистого эстетизма. Она не мумифицирует и не украшает. Она не превозносит шедевры культуры, не торгует ни подделками, ни символами, и никакое музыкальное празднество ее не удовлетворяет. Она обрывается на своих дорогах с красотой — высший союз, но и она для нее не конечная цель и не насущная пища. Не позволяя себе отделять ни искусство от жизни, ни познание от любви, она действие, она страсть, она мощь, она обновление, раздвигающее границы. Любовь — ее очаг, дерзновение — ее закон, ее пристанище — всюду, в предвидении. Ей вовеки неведомо безучастие и неучастие.

Между тем она не ждет никаких благ от века. Верная своей участи и свободная от всякой идеологии, она ощущает себя равной самой жизни, что в себе черпает смысл существования. И словно одна великая живая строфа, она заключает в объятия настоящего все былое и все грядущее, все человеческое и сверхчеловеческое, все пространство планетарное и вселенское. Темнота, которую ей ставят в вину, присуща не ее существу, светоносному по природе, а той ночи, которую она изучает и обязуется изучать: ночью души и тайны, окутывающей человека. Ее реченье всегда отвергает темноту, и это реченье не менее требовательно, чем язык науки.

Так своей слиянностью с сущим поэт осуществляет для нас связь с непрерывностью и единством Бытия. И его урок оптимистичен. Один и тот же закон гармонии правит

всем реальным миром. Ничто не может произойти в нем, превосходящее меру человеческого понимания. Худшие исторические потрясения не более чем смена ритма времен года в огромном цикле сцеплений и возрождений. И фурии, что пересекают сцену, воздев факел, освещают лишь миг бесконечно долго развивающейся темы. Созревающие цивилизации не гибнут в агонии осени, а лишь меняют кожу. Опасна только инерция. Поэт — это тот, кто разрывает для нас путы привычки.

Так поэт помимо своей воли оказывается связанным с историческими событиями. И в драме его времени ничто ему не чуждо. Пусть выскажет он в полный голос вкус к жизни в крупное время! Ибо огромен и нов час обретенья себя. И кому мы уступим честь жить в наше время?

«Не бойся, — говорит История, приподнимая однажды гневную маску, и воздетой рукой она чертит в воздухе примиряющий знак азиатского божества в неистовстве воинствующей пляски. — Не бойся, не сомневайся, ибо сомненье бесплодно, а боязнь безвольна. Слушай лучше тот ритм, что отбивает моя воздетая к новой нови рука, — шаг великой человеческой фразы по дорогам творения. Неправда, что жизнь способна себя уничтожить. Ничто живое не порождается небытием и к небытию не стремится. Но ничто тем более не может сохранить свою форму и меру в неустанном прибое Бытия. Трагедия не в метаморфозе, подлинная драма столетия — в растущем разрыве между человеком временным и вневременным. Человек, освещенный на одном берегу, должен ли быть поглощен тьмой на другом? И его возмужание в обществе без общения — не будет ли оно видимостью возмужания?..»

Дело поэта свидетельствовать среди нас о двойственном предназначении человека. А это значит поставить перед разумом зеркало, позволяющее видеть наиболее ясно духовные возможности. Это значит воззвать из глуби века к человеческому назначению, наиболее достойному человека перевозданного. Наконец отважно сочетать мировую душу с круговоротом духовной энергии... Рядом с мощью энергии атомной довольно ли будет поэту глиняной плошки его лампы?— Да, ежели человек помнит еще о глине.

И с лихвой довольно поэту быть больной совестью своего времени.

СОДЕРЖАНИЕ

Сен-Жон Перс в России. *Пьер Морель* 5

Анабазис

Перевод Георгия Адамовича и Георгия Иванова 21

ИЗГНАНИЕ

Изгнание. *Перевод Натальи Стрижевской* 67

Ливни. *Перевод Натальи Стрижевской* 87

Снега. *Перевод Натальи Стрижевской* 107

Поэма чужестранке. *Перевод Натальи Стрижевской* . 119

Ветры. *Перевод Мориса Ваксмахера* 129

Створы. *Перевод Мориса Ваксмахера* 149

Хроника. *Перевод Натальи Стрижевской* 215

Песня той, что была с тобой.

Перевод Натальи Стрижевской 237

Песнь равноденствия. *Перевод Натальи Стрижевской* 243

Поэзия. Речь на банкете

по случаю вручения Нобелевской премии

Перевод Натальи Стрижевской. 247

К иллюстрациям

Обложка первого издания «Анабазиса» на русском языке

Перевод Г. Адамовича и Г. Иванова. Париж, 1924 г. 22

Сен-Жон Перс. *Рисунок Пьетро Лаззари* 68

Сен-Жон Перс. *Рисунок Андре Маршана* 88

Силуэт Сен-Жон Перса. *Автор неизвестен* 108

Сен-Жон Перс. *Рисунок Робера Пти-Лорена* 120

Фрагмент комментария Сен-Жон Перса

к переводу поэмы «Ветры» 130

Фрагмент рукописи поэмы «Створы» 150

Сен-Жон Перс. *Рисунок С.А. Больо* 216

Большая бронзовая маска Сен-Жон Перса

работы А. Бека 238

Сен-Жон Перс

П-27 Избранное. Переводы с фр. Вступ. статья П. Мореля
М.: «Русский путь», 1996 — 256 с.

ISBN 5-85887-011-02

Сен-Жон Перс (1887 — 1975), великий французский поэт, дипломат, лауреат Нобелевской премии 1960 года.

Его творчество чрезвычайно высоко ценили Рильке и Клодель, Оден и Элиот, который писал о нем: “Он не укладывается ни в одну из категорий, не имеет в литературе ни предшественников, ни собратьев”. Его поэзия — это вереница циклопоэм, философская лирика, облеченная в необычную и многозвучную форму версета. В книге представлены все периоды творчества поэта: «Анабазис», цикл поэм «Изгнание», «Ветры», «Створы», «Хроника» и др.

ББК 84. 4.

Сен-Жон Перс

ИЗБРАННОЕ

Художник *Г.К. Самойлов*
Технический редактор *Л.А. Фирсова*
Корректор *Ю.П. Баклакова*
Компьютерная верстка *А.А. Кузьмин*
Компьютерная обработка иллюстраций — студия **ВИГРАФ**
Дизайнер *А.В. Фукс*

ЛР № 040399

Подписано в печать 01.03.96. Формат 84x108/32.

Тираж 10000 экз. Заказ № 632.

СП «Русский путь»
109004, Москва, Нижняя Радищевская, д. 2, стр. 1.
телефон: (095) 915 · 10 · 47

Отпечатано в типографии АО «Астра семь», Москва, Аксаков пер. 13.